

о.бешенковская
травля
viehwasen 22
и далее...

часть I
viehwasen 22

Copyright © 2005 O.Beschenkovskaja
Alle Rechte in dieser Ausgabe vorbehalten
ISBN 3-936800-74-X
Printed in Germany

Ольга БЕШЕНКОВСКАЯ

Viehwasen, 22
История с географией
или
ДНЕВНИК СЕРДИТОГО ЭМИГРАНТА

«Господи, как я ненавижу людей! Особенно немцев и евреев. Нет, все-таки евреев и немцев... Впрочем, и русские с их хитрожопыми лицами были не лучше. Но евреи и немцы...»

Так должна была бы начаться эта книга, если бы у меня хватило сил взяться за нее раньше, год назад, например. А если бы два, то каким детским восторгом приземлившегося марсианина дышали бы эти сияющие листы... Так слепой, узнавая предметы на ощупь, испытывает радость не обладания, а сотворения... И где же еще скромно отпраздновать свой эгоистический субъективизм, как не на родине идеалистической философии...

А по-настоящему надо было начать записывать еще раньше, ровно три года тому назад, 10 мая 1992 года, когда три самые популярные газеты столицы русской поэзии вдруг дружно проснулись и пожелали доброго пути еще одной поэтессе, впервые назвав ее известной.

Разумеется, не поэтессе, а поэту, потому что русский язык как зеркало нашего сознания отражает мужество, необходимое для этой профессии, вернее, - судьбы... «Поэтесса» в России звучит как-то неуместно, получается что-то вроде салонного «кес-кес-э» на строительстве Беломорканала, бабочки «кис-кис» над волосатой грудью с тюремной русалкой; или – в самом безобидном случае – представляется перламутровый ноготок, кокетливо прижатый к розовой лодочке губ – «тс-с...» – тише – в сельской родилке, над ворохом окровавленных простыней, стонов и мата...

В России было немало поэтесс, придатков, так сказать, печатных органов; их творчество сводилось к рифмованным поискам законного мужа и не нарушало розовой, как пайковая ветчина, идеологической идиллии, вполне укладываваясь в галантерейно-парфюмерные принадлежности для запудривания мозгов. Некоторые отступления от морального кодекса строителей коммунизма, чаще всего, - в траву: поплакать, а потом – порезвиться, или наоборот: порезвиться, а потом – покаяться, в общем-то разрешались, и даже поощрялись так же, как и народный алкоголизм. (Пусть лучше думают, что – свободны, чем, действительно, думают...) Но для литературы было бы лучше, если бы поэтессы в процессе своих глубоких творческих актов все же предохранялись или хотя бы обращались с первыми признаками не к читателю, а к гинекологу... А народ лучше бы, конечно, не пил и не воровал...

Как давно это было... Здесь никто не поймет твоей горькой иронии хотя бы уже потому, что даже слегка подпорченные образованием земляки носятся с обалдело вращающимися зрачками в поисках заработков и собственных “Я”, какие-то фантастические Черновцы (город? национальность? тип нервной деятельности?) пытаются оккупировать весь мир своим индюшачьим местечковым тщеславием, а с немцами и с немецким — разногласия и стилистические, и фонетические, как когда-то с советской властью... Именно так. Менталитет — это алфавит с человеческим лицом.

Вместо гордого, пусть немножко самодовольного, выпуклого, как первый жирок интеллигента, звонкого “Я” — какое-то зловеще шипящее “Ихь”... Вместо спокойного, но твердого, исполненного человеческого достоинства “я думаю” — монетный звон в висках — “Ихь деньке”, мелкие их шутки и мысли про деньги... Они не стесняются возводить копейную экономию в ранг достоинств. Они торгуются с собственными детьми из-за мороженого, подъезжая к ларьку на роскошном “мерседесе”. Но не потому ли в конечном счете мы приехали к ним, а не они — к нам... (Впрочем, кто может поручиться, что именно этот счет между нами — последний... Пророки давно измелъчали, они теперь снимают «сглаз» на рыночных площадях, да и родился ли когда-нибудь в одном лице и гадатель истории по географическим картам, и ее укротитель...)

А может быть, это и хорошо, что рука только сейчас потянулась к перу, а перо — к бумаге (болезнь наша — литература, мания цитирования, недержание ассоциаций), только теперь, когда все или почти все уже позади и та вторая жизнь, которая мнилась за государственной границей, по существу, уже тоже исчерпала себя, а была и пылкой, и жесткой, и до предела насыщенной; и стало снова тускло и скушно, как некогда в городе Великой Депрессии... Потому что сбылась мечта — и не осталось загадок. (Только ватная пустота после исполнения страсти.)

Я предвижу злорадство “писателей”, укравших у меня литературную жизнь (писателей в кавычках и скобках, потому что писатели без кавычек и скобок могут слямзить библиотечную книгу, но не чью-то судьбу) и обиженных на то, что им об этом сказали. Не обольщайтесь! Мы, уехавшие последними, угодившие в “колбасный вагон” и не слишком радушную атмосферу переполненного дармоедами капитализма, еще скажем свое слово. И о себе, и о вас, и о мире, который все же увидели. А ведь могли так и помереть с необъяснимой ностальгией по Западу... (Необъяснимой, потому что не только мы, но и заранее заготовленные для нас судьбой гены там не бывали... Наши генеалогические древа были переструганы на дровяки для победоносных знамен, а образовавшиеся на их месте куцые кустики — советская природа тоже не терпит пустоты, хотя обязана развиваться по совершенно другим законам,— вырваны с корнем на той войне...)

Не торжествуйте и вы, элегантная — с виду — дама, доцент славистики, пытающаяся унижить русских писателей копейными подачками и давно провоцировавшая меня на эту книгу, кровожадно дыша и нетерпеливо заглядывая

через плечо, когда ей вскапризилось найти меня в гетто кошмарной общаги: “Главное, что вы лично испытываете, лично, это же так интересно... И торопитесь, будет уже поздно...”

Для чего — поздно? Для дешевой карьеры первого бытописателя “четвертой волны”? Я готова заранее разделить эту горькую славу со всеми, даже с самыми юными и никому не известными, особенно с юными и неизвестными, с теми, кому не пришлось “выдавливаться” из себя “по капле раба”, потому что выдавливать было нечего... (В отличие от некогда почитаемых и никогда не читаемых, от которых, когда они пытаются выдавить из себя хоть одну рабскую каплю, вообще ничего не остается..)

Не пытайтесь поспеть за литературой, как за модой. Она никогда не опаздывает, редко бросается в глаза, а иногда по многу лет стоит перед вашей оббитой глухим дерматином дверью и терпеливо и снисходительно ждет, когда же ее заметят...

Боюсь, что мои записки будут раздражать как раз своей преждевременностью, что, будучи по складу своего угрюмого дарования, к несчастью, Кассандрой, вернее, Кассандрой — именно к несчастью (у меня на несчастье особый нюх, а радости я воспринимаю с дилетантским щенячьим восторгом), я уже знаю сейчас, как все это снова начнется... Именно здесь, в “дойчланд, дойчланд юбер аллес”, где все переходят улицу только по команде светофора (хочется написать “офицера”) и послушно плачут на типично голливудском “Списке Шиндлера”... Плачут тихо, не всхлипывая, чтобы не нарушать тишины, и вытирают глаза разовыми платочками “Темпо”...

А евреям кино не страшно. Они шумно перешептываются во время сеанса, шуршат шоколадками. Они и не думают, что кому-то мешают, норовят с места вмешаться в фильм, как будто там, на экране, можно что-либо изменить...

Евреи любят поучать,
И возглавлять, и отличиться,
Опять по шапке получать —
И ничему не научиться;
Своей семьи не огорчать —
И за чужими волочиться...
И в печке с газом замечать,
Что может что-нибудь случиться...

Я столько раз пыталась приняться за эту книгу, что в конце концов она мне... расхотелась. Пересохла в горле, как паста в когда-то начатом, а потом в суматохе утренних процедур заброшенном тюбике. Теперь жми — дави — выкручивай, а высовывается только мышиний хвостик какого-то дохлого вещества. Ни тебе ни влаги, ни аромата, без которых литература, как известно, немислима.

Ну что ж, что не делается — то лучшему... (Главное — обосновать утешение, перефразировать жизнь, если уж нет сил ее переосмыслить и, тем паче, начать сначала...) В сущности, лень избавляет нас от более страшных пороков, которым подвержены слишком активные и деятельные натуры, вносящие в свою и в чужую жизнь знобящую лихорадку бессмысленной суеты, а то и торпедующие бациллы злокачественного энтузиазма. Возможно, сейчас она спасает меня от греха литературного онанизма, как когда-то в любознательной юности уберегла от научного коммунизма, всемирного сионизма и от прочих идиотизмов нелепой страны и горемычной эпохи, которой в лучшем случае суждено называться Эпохой Возражения, а о возрождении можно только робко мечтать...

И тут я делаю себе 854-е китайское предупреждение (метафора именно оттуда, из того всегда почему-то более анекдотического, чем политического контекста), что, мол, если ты все-таки собираешься о чем-то писать, то не мудрствуй лукаво. Не струись велеречиво и вычурно...

...Запрети себе медленное, с наслаждением, выдыхание мысли, как залихватское пускание дыма — кольцами — из ноздрей. Чтобы эта поза выглядела естественно, кресло должно покоиться в гобеленовой зале или в китайской — нежных, как небо и небо, шелков — гостиной, а не в скромной социальной квартире нищего эмигранта. Но — отнеситесь почтительно к собственной памяти...

Я, например, точно знаю, что в сотах моего мозга, охваченного жужжанием и пылением, никогда не откладываются даты событий. (Единственная, которая почему-то запомнилась на всю жизнь, — 1242 год, Ледовое побоище, псы-рыцари; хотя почему — псы? С детства люблю собак, а у dospехов в рыцарском зале Эрмитажа — блеск матовый, скорее уж волчий, как бы скрещение всех оттенков холода: волки, луна и лед, скульптурная группа над одиноким захоронением озера...) Но зато в сути событий я обычно не заблуждаюсь, наоборот, угадываю ее по первым штрихам...

И вот за это, за необременение меня не, как почему-то принято считать, точностью, а, как мне кажется, мелочностью, за ненаваливание голых мясистых фактов на мое хрупкое воображение, но — за сохранение стройных очертаний обнаженных тенденций, я готова снять шляпу перед собственной памятью... Если я когда-нибудь ее встречу на улице, и при этом на мне будет надета шляпа, то именно так и поступлю. Можете не сомневаться.

Эмиграция в отличие от нормальной (совершенно ненормальной, в том-то и были ее и вкус, и запах, и музыка), привычной жизни слишком буквальна. Начиная с переводного (переносного) понимания слов, сказанных на чужом языке (покупая приятно галстук, не можешь отделаться от ощущения, что приобретаешь не безобидную тряпочку в каких-то геометрических ребусах, “ди краватте”, а громоздкое и ненужное двухспальное лежбище), и кончая толкованием нравов по отдельным знакомствам: немец читает — немцы читают — немцы — читающая нация... (Как бы не так, хотя блестящая, отлаженная до излишнего, переходящего в пошлость глянца индустрия духа предлагает ежегодно 70 000 названий новых книг. Интересно, для кого они тут издаются?..)

И еще в ней, в эмиграции, есть какая-то невидимая трагическая черта окончательности, что-то вроде добровольной черты оседлости... И тогда — уже обреченность.

Ибо для того, чтобы менять страны после пятидесяти, нужно было с пяти иметь гувернантку с легким прононсом Елисейских полей, а также чудаковатого дядьку в буратиновом шлафроке (немцы на чужбине всегда странные, безобидные, если, конечно, не победят) и еще хотя бы сонеты Шекспира на чистом английском, желательно в сафьяновом переплете, без такого простого и складного участия Маршака...

А если вместо всего вышеперечисленного тебе была уготована комната на всю семью в пропахшей щами и скандалами коммуналке, по сравнению с которой нынешняя социалка — дворец графа Шереметева, то ты можешь вынести максимум одну эмиграцию. Ибо вкладываешь в этот бросок все оставшиеся и сконцентрированные в солнечный комок силы — как в последнюю страсть. На что предмет твоих притязаний взирает недоуменно и холодно...

Как проста в России нищета:
Нет хлеба — понимай буквально...
Блюдо ослепительно овално,
Как ночного тела нагота.

Вот и эта пройдена черта.
Время — вспоминать сентиментально...

Уходя — не медли, уходи —
Или мозг взорвется в одночасье...
Господи, какое это счастье
Если только юность позади...
А теперь — и Родина... В груди,
Как в стране — разруха междувластья.

И куда мы каждый со своим
Скарбом скорби... Темен сгусток света.
Постоим. Рука в руке согрета.
Зябко, но не холодно двоим.
И услышим в шорохе руин
Лепет листьев будущего лета...

Я всегда верю первому ощущению, информации импульсов, когда развращенный опытом мозг еще не успел пуститься в спасительную софистику, объясняя, скажем, откровенное свинство как скрытое и блуждающее во тьме нравов потное восхождение к сияющим вершинам эпикурейства; пока он еще не начал химичить, меняя электроды местами и получая в итоге те же оранжевые пунктиры тока-шока...

И сейчас, когда нестерпимо хочется в ту напряженную нравственную атмосферу, где плюс — это плюс, а минус — минус, где злодеи, как это ни парадоксально, стесняются, смущаются своих злодеяний и злоделишек, вздрагивая в начальственных креслах от все понимающих взглядов портретов ("Пушкин" Крамского или Тропинина на скользкой административной стене незаметно делали свое дело, хотя на посетителей обладателям кабинетов было плевать, точно так же, как и их коллегам во всем цивилизованном мире), сейчас я вспоминаю ленинградский аэропорт и свое идиотское желание поцеловать таможенника: последнее родное лицо...

Интуиция — единственно правильный способ ориентации в пространстве и времени. Позже, когда любая жанровая сценка, отлежавшись в сетчатом гамаке памяти, привстанет со следами вдавившихся пут, встряхнется с легким прихрустом и, наконец, предстанет как уже символ себя самой, и поведет нас за руку (пишущую...) к какой-то идее, можно будет найти и логическое объяснение этой галиматье, вернее, нагородить научной галиматьи вокруг очевидной невидимости. Скажем так: сигнальная система подсознания предупреждала о приближающейся опасности...

Но ведь хотелось, мечталось, грезилось: из тюрьмы — на свободу, из страны, все еще окруженной колючей проволокой границ, — в увлекательный мир, где растут на влажных полянах цветы фламинго, которые не повернется перо отнести к фауне, — такие они нежно-розовые, воздушные, как пастила и зефир, лакомства нашего роскошного, хотя и убогого детства. (Детство — роскошь, доступная каждому; даже у Сталина, даже у Гитлера было детство, а не только у Левушки Толстого или Алеши Пешкова...)

Да еще этот нелепый путч, бунт в животе (очевидно, от тяжелой для них духовной пищи в журналах), показавшийся страшным; я тогда впервые бродила по Лондону, еще как-то инстинктивно оглядываясь и озираясь — нет ли «хвоста», чтобы привыкнуть к свободе — нужно время, мысли заключенного затекают как мышцы; но убежища не попросила, потому что если всё снова — значит, надо снова — и нам... (Что может быть грустней и стыдней, чем записи в летописи: велика, мол, наша страна, богата, придите кто-нибудь и наведите порядок...) Жаль только, что долгое противостояние ожесточает, человек как-то незаметно отвыкает от нормальных человеческих радостей, понимая под ними абстрактный призрак Победы, забывая или вовсе не зная, как одиноко, хоть и ослепительно,

стоят, окруженные музейным холодком, все Афины-Паллады и даже Ника Фракийская...

Может, в том и русское счастье мое, а не только несчастье, что судьба уготовила мне “инвалидность пятого пункта”, что на всяком лубочно-пасхальном пиру я чувствовала спиной дуновение прохладного ветерка и вдруг ощущала кожей свою чужеродность и непричастность к празднику. Это чувство отторженности (не отверженности, а именно неумышленной отторженности) как бы отодвигало все происходящее на крохотную дистанцию и возвращалось в организм с первым глотком вина, много веков назад настоящего на горьком высокомерии, на печальной мудрости и легкой иронии... Это чувство, вернее, подчувство (если есть подсознание, есть и подчувство, подспудно тлеющее), мне подсказала не Тора, а Томас Манн, когда я по-юношески восторженно упивалась его “Иосифом”, и сама жизнь, в которой, как на его же “Волшебной горе”, все были больны ожиданием неминуемой смерти, но в мелочной суете повседневности удавалось отвлечься от мыслей о Ней...

Поэтому меня не особенно задевал государственный антисемитизм. И, может быть, именно потому, что не волновал, что не на нем сосредотачивала моя расхристанная по-славянски душа свое просыпающееся внимание, повезло и в университет поступить, и работу найти. (Хоть и не по таланту, но все-таки по специальности.) А если потом всю жизнь то премировали, то увольняли, и опять, уже на другом месте, премировали и увольняли, то это не из-за самой национальности, а из-за ее рассеянности, забывчивости пониже опустить голову и быть по-человечески благодарной за корм... А что стихов, можно сказать, “при жизни” не напечатали, так на это я не в обиде: ну кто же станет помогать своему убийце потуже затянуть веревку на собственном горле... Они же не мазохисты какие-нибудь, они и слова-то такого не слышали, и университетов, как правило, не кончали, о чем говорили с понятной гордостью Шарикова, сожравшего-таки профессора и успешно прошедшего курс идеологической дрессировки.

Зато когда вспыхнула перестройка (было в ней что-то от эпидемии, так сказать, заря и холера одновременно, язык сам знает, в какой кровавый борщ смешиваются в его неисчерпаемой емкости овощи различных национальностей, разнородных понятий), когда забрезжил впереди призрак разочарования — с одной стороны, а с другой — остался, никуда не ушел тот самый призрак, который долго бродил по Европе и остановился почему-то у нас, когда стало ясно, что теперь от тебя зависит собственная судьба, и только она, и что тебе в чем-то глубоко несимпатична сногшибательная карьера лидеров нашей честности,— вот тогда и была заполнена анкета на выезд...

Хотя, конечно, это не очень приятно, что новый мэр города шутит по телевизору на тему возможных погромов, а одна паникерша уже обзванивает знакомых, чтобы выяснить, кто из них — не еврей, и просится на ночлег...

Обстановка в Ленинграде была действительно наэлектризована... А я, впервые в жизни буквально завалив сына шоколадом (вдруг посыпавшиеся со всех сторон гонорары мгновенно превращались инфляцией в труху, а расположенная неподалеку фабрика, еще носящая имя чего-то красного, не помню — чего, уже растаскивалась по коробкам, прежде припрятанным от покупателей, теперь ее труженики стояли прямо в магазине “Здоровье” со своим мало кому нужным товаром, так как не было хлеба, мяса и масла), так вот я, откупившись от сына этим нечаянным пиром, жадно глотала только что вышедшие (и ста лет не прошло) дневники Зинаиды Гиппиус, то и дело ловя себя на ощущении, что это — о нас...

Странно, но оно щемит и по сей день, когда уже главные трудности и перестройки, и эмиграции позади, когда мир уже приоткрылся мне в своей неприкаянной красоте и неизбывной печали...

И я вдруг неожиданно для самой себя вызываю из памяти тот отъездной день: 10 мая, десятая годовщина смерти отца, которого война достала уже через столько лет, убила внутренним взрывом инфаркта, когда он пришел на встречу однополчан один,— и пена изо рта, и все кончилось, так, говорят, умирают святые; и вот 10 мая, и я еду в Германию, не в ту, а в другую, у меня всегда была своя Германия, как и своя жизнь, и свой взгляд на нее; и душный “накопитель” (надо же так назвать, а главное — догадаться: впихивать улетающих в темный “чулок” отсека, лучшее средство от ностальгии) во всегда и везде космополитическом аэропорту, ибо над ним — наше общее безграничное небо; подпрыгивающие, чтобы еще раз махнуть прощальной рукой, друзья, и тут — это патологическое желание... Именно так. Поцеловать таможенника, которого все так не любят, которому отъезжающие навсегда иногда просто хамят — мстят за то, что всегда вынуждены были бояться (хамство подвыпившего плебея, выкупленного раба...). И закладывает уши ничем, кроме вошедшей в состав крови русской литературы, неоправданный страх, что это и есть — навсегда...

У эмигрантов не было взрывчатки,
Им было все – действительно – равно...
Они меняли страны как перчатки,
И всюду пили терпкое вино.

И сторонились праздников народных,
И если шли – то в смертный батальон,
Чистопородных предков благородных
В непропитый защелкнув медальон...

А если Бог давал еще попытку:
Гарсоном – в бар, извозчиком – в такси, -
На ветровое клеили открытку,
Шепча почти молитвенно: «Росси...»

Я тоже здесь, мне тени их все ближе...

Горчит лимон, изранивший вино...
И я, ночами шляясь по Парижу,
Не проиграю память в казино!

Старенький кругленький добрячок-тюфячок изо всех сил выкрикивал в родной советский матюгальник, заглушая ровный, отлаженный европейский гул франкфуртского аэропорта:

— Евреи, прилетевшие из Ленинграда, подходите ко мне! Ко мне, пожалуйста! Детки попьют и пописяют, попьют и пописяют...

Последняя фраза раздражала не только своей биологической навязчивостью (Анатоль Франс, например, не садился за стол с прекрасными дамами, ибо в процессе поглощения пищи они теряли свое очарование), но и прежде всего филологическим сюсюканьем.

Я не выношу местечкового акцента. Нет ничего более омерзительного для фарфоровых петербургских ушей, чем всякие там “пописять”, “ой, вы знаете, Абрамовичи тоже едут”, и т. п. и т. д. Как будто эти горластые, измазанные липким шоколадным дерьмом детки уже “пописяли”, и не куда-нибудь, а именно в твои благородные ушные раковины...

Шолом-Алейхем никогда не был в числе моих любимых писателей. Даже беглый структурологический анализ речи его героев вызывал у меня чувство жалости и досады, а значит — презрения. Язык — это рентгеновский снимок психологии.

Русские классики будили чувство вины, стучась в самые замурованные двери уснувшей совести, и воспевали свободу, немецкий — замахнулся на теорию сверхчеловека, а еврейский — любовался униженной провинциальностью и, конечно же, неумышленно, с помощью переводчиков, возводил унижающий русский язык неправильный выговор в национальную культуру и, значит, в литературную норму.

Может быть, мне просто-напросто повезло: угораздило выпасть (как снегу...) не в каком-то дремучем, коверкающем слова Бердичеве, не в отрезанном от всех и всего скудном (и провокационном по сути своей) Биробиджане с его дрессированными партийными секретарями — советский еврей служить не может, он прислуживает и выслуживается, и, главное, во имя чего? Дальше-то все равно не сошлют, разве что на Аляску, а там уже и Брайтон-Бич не за горами...

Мои родители вытащили для меня счастливый билет: при всей нашей традиционно-национальной неудачливости априори надо мной клубился сиреневый, в серебряных проблесках полумрак Достоевских “Бесов”, мои детские сандалики захватывала и тянула в себя угрюмая и таинственная волна “Медного всадника”, горе от ума стало и моей личной, а значит, и нежно любимой трагикомедией... Я всегда уходила оттуда, где мне становилось хорошо: то есть слишком комфортабельно, слишком уютно, располагало к тайным порокам... Любая карьера была мне — мною — противопоказана, я разрешала себе только первый сладкий глоток...

Да, только теперь начинаешь вдруг понимать, какое это необыкновенное счастье: родиться именно в Петербурге, граде Святого Петра, хотя и слышшего и в чем-то ставшего просто областным центром имени Ленина...

Но была ли когда-либо черта оседлости для движений Духа? Разве не становились евреи врачами и адвокатами, разве не оседали в столицах и не восхищали публику вдохновенным рыданием клавиш и запредельным, казалось, полетом смычка? Правда, про них говорили, что они умеют устраиваться...

Но мы отвлеклись. Во Франкфурте все тоже как-то быстро устроилось. И начались чудеса... И на душе стало еще более слащаво и гадко.

В социальной комнате (видимо, что-то вроде приемного покоя — для поступающих на излечение от социализма) детки, как было обещано, “пили и писяли”, “писяли” — и опять пили, уже не столько от жажды, сколько потому, что импортная минералка мерцала в ящике, соблазняя родителей совершенно советским счастьем — халявой.

Особенно неприятной показалась одна семья: он — около сорока, с козлиной бородкой, с плохо действующей рукой, но как бы компенсирующими ее неподвижность бегающими глазками. Родители, из последних сил толкавшие впереди себя и всех неуклюжий сундук (простая стратегия: чтобы никто не мог войти первым) и уже ругающиеся с немецкой социальной работницей, выдавшей каждой вновь прибывшей семье по двадцать марок — до завтрашнего утра. Ни за что, просто потому, что здесь так положено. Хорошо еще, что та ни слова не понимала по-русски (а ни на каком другом языке скандалить они не умели) и не узнала, что невестка, дрянь этакая, тут же приберет эти деньги к рукам, а ей, свекрови, старой, больной, беспомощной не даст ни копейки... Невестка, кстати, из всей этой жутковатой компании выглядела нормально, вполне миловидная женщина, занятая с маленькой дочкой, походка которой клонилась в сторону церебрального паралича. Последнее обстоятельство заставило меня в дальнейшем, с пятью пересадками, пути надрывать, подавая бабке ее проклятый сундук и слушая про не доставшиеся ей тридцать марок, которые уже как бы выросли из приятного сюрприза в долг немецкого правительства ей лично...

Еще одни попутчики — профессор-экономист с женой и общительной, как говорят, на выданье, дочкой... Почти десять лет “в отказе”, ящики на почте заколачивал, когда с работы его “ушли”... Морщины на лбу — как приморский песок, волнуются, вот она, за граница — мечта диссидентского воображения... Радуются всему, тому же прохладному мерцанию минералки: Аква Вита... Забота о человеке. И вообще — новые впечатления...

Стараюсь сосредоточить внимание на этом красивом библейском лице, чтобы не спрашивать себя ежеминутно: “Зачем ты здесь?” А просто смотреть, переводя взгляд с него на квадрат удушливой черноты за окном...

На улице — плюс 35. На плечах — огромная кроличья шуба, какая-то дикая, встрепанная, будто с плеча Пугачева, на самом деле — изделие одного из нарождающихся в России кооперативов, куплена по случаю гонорара за книжку стихов. А в руках — русская пишущая машинка, родная, привычная, берущая две копии — хорошо, третью — с сильным нажимом, четвертую — никак, хоть молотком колоти... Вот, собственно, и все имущество, взятое с

собой, как сказано в визе, на ПМЖ — постоянное место жительства. Как будто что-то в человеческой жизни может быть постоянным...

Увы, я уже так стара, что начали сбываться юношеские мечты: сначала — шуба, теперь — Германия...

...Кант прав: трагическая суть
Судьбы — выходит за пределы
Любовных пролежней. И телу
Простерт все тот же санный путь...
Светает. Вздох колышет грудь...
Начать с доски, где снова — бело?
Но что за птица ночью пела
И скрылась в матовую муть?..
Покуда в градуснике — ртуть
И память — в нас не охладела,
Хотела б знать, чего хотела
Душа: не заживо ль уснуть?
Иль кое-как и как-нибудь
Повеселиться неумело?..

Ну вот мы и — рука задумывается, повисая согнутым локтем в воздухе, не решаясь на это простое и щемящее слово — “дома”...

Темный, будто раздавленный чернослив, теплый южный вечер, прилипший к телу, кажущаяся после наших подслеповатых проспектов елочной иллюминация витрин и киосков — все это сообщает утомленному организму какое-то экзотическое предчувствие, похожее на предвкушение зимнего отпуска в Ялте или в Сочи, подчеркнутое случайным знанием о близости гор. (Отношения мои с географией всегда были, как у незабвенного Митрофанушки, природа часто одаряет нас чем-то одним, скарредно экономя на всем остальном и доводя субъект своей опеки до полного кретинизма в той или иной области.)

Впрочем, сейчас и остальным, более расторопным, не оставалось ничего иного, как только надеяться на извозчика... В чужой стране, не зная языка и обычаев, все мы выглядим недорослями, даже если ты — Миклухо-Маклай, а вокруг — туземцы. И уж тем более, если ты — только что из России, а вокруг — Европа...

Таксист воткнул нос в листок с адресом общежития...

(Из Ленинграда одна германистка, специалист по творчеству Гофмана, написала по моей просьбе, разумеется, в самых изысканных выражениях, письмо на имя директора вонхайма, что так, мол, и так, членом семьи фрау такой-то является и ее любимая кошка, и каковы будут условия для этой рыжей примадонны в известной своей любовью к животным Германии? Ответ пришел на бланке, состоял из одного предложения, но зато с тремя восклицательными знаками. Здесь уже хватило знаний соседки, выпускницы ин-яза, чтобы понять: “Проживание совместно с животными на территории всех общежитий земли Баден-Вюртемберг категорически воспрещается!!!” Капитализм еще не утвердился в России, слабо стоял на своих рахитичных от рождения ножках, и поэтому кошке даже не пришлось нанимать бэбиситера — ее на время удочерила подружка.)

Вот этот-то бланк я и догадалась подсунуть водителю, потому что иначе как бы мы объяснили, куда нас, обалдевших, как кошки от новых запахов, надо доставить...

Эскорт из трех как бы перевернутых лодок – серебристых, как показалось на волне первой удачи, автомобилей – один за другим нырнул в тяжелую влажную черноту...

...Утром я попыталась сразу... закрыть глаза. Но нестерпимое солнце вбивало тонкие твердые лучи под ресницы, и, самое главное, что страшное видение не исчезало...

Не мерцал на стене под стеклом тонкий профиль Александра Александровича Блока, стена вообще как бы куда-то отодвинулась, не было ни разноцветных книжных корешков (с некоторыми из них я иногда даже здоровалась), ни нежно мурлыкающей мордашки с усами (кошка всегда приходила за утренним благословением, а потом уже смело шла грешить: залезать в кастрюли, опрокидывать доставшиеся в наследство от свекрови хрустальные вазочки), не было больше ничего, и только — нары, нары, нары...

Я начала считать эти железные койки, нависающие в два яруса, очевидно, чтобы проверить, в своем ли я уме... Первая мысль была: “Пряжка” — ленинградская психушка над темной блоковской речкой, почти напротив музея...

Забегая вперед, скажу, что ассоциацию эту, как, собственно, все внезапно вспыхивающие в мозгу параллели — аллюзии к виденному или слышанному, и даже вовсе, казалось бы, беспочвенные аллегории, считаю логичной и правомерной. Интуиция, как сказал Энгельс,— побочная дочь знания...

Все-таки что ни немец — то “Кёпфе”¹, не знаю только, откуда всплыло во мне — тогда — это словцо: вроде бы не из Пастернака, наверняка не из Тютчева, ах, да... Из беспомощных попыток родителей иногда щегольнуть выбитым из них за долгую жизнь идишем, языком немецких евреев, как я пойму здесь, близким местному диалекту... Правда, мои познания ни в немецком, ни в идише здесь не пригодятся. Их общий объем исчерпывается пятью словами: “коммунистше партай” и “юнге пионирен” — с одной стороны, и “ништюкхенсейхл”, “мишугине” и “азохенвэй” — с другой. Первые два торжественно и сурово произносили гости из ГДР в нашей школе, больше запомнившиеся ровно и строго сидящими костюмами (у нашего директора брюки напоминали спереди растянутый аккордеон, а сзади — просто серый мешок), а все остальное мама иногда, думая, что я сплю, шептала папе,

показывая на меня...

И хотя откуда ей, скромному корректору текстильного института, было знать, что информация во сне усваивается особенно хорошо и в одной маленькой комнате ни у кого ни от кого секретов быть не может (вот почему любая коммуналка и любое общежитие — это всегда нарушение прав человека, лишение его права на секрет), все-таки моя покойная еврейская мама была не такая глупая женщина, как мне казалось при ее жизни... Это утро еще раз доказало ее правоту...

..Какой-то маленький, щупленький старичок в так называемых "семейных" трусах (крик довоенной курортной моды: синие, сатиновые, похожие на современную мини-юбку) старательно приседал и, дрожа и хрустя всеми членами, медленно выпрямлялся, ухватившись за край ободранного и облупленного, будто в привокзальной забегаловке, столика посреди чердака. Ну да, конечно, это чердак, мы же вчера, спотыкаясь по причине усталости и отсутствия лампочек, преодолевали какую-то лестницу, она все никак не кончалась, лифта мы почему-то тоже не нашли, и еще нас почему-то никто не встретил, хотя все мы согласно полученному предписанию за два месяца сообщили день и час своего прибытия. Первую ночь спали вповалку, на полу, утешившись тем, что хоть не на улице...

О каждом народе сложены свои мифы, мифотворчество продолжается и сейчас, когда народы перемешались в едином котле и, видимо, потеряли многие свои полезные свойства... Но покажите мне хоть одного иностранца, приехавшего в Германию без святой и наивной веры в немецкий "орднунг"! (Вот и еще одно слово всплыло откуда-то из глубины памяти, развязав один из ее туго затянутых узелков.) Разумеется, все тут же сошлись на том, что письма за границу по-прежнему не ходят, небось лежат наши из последних рублей оплаченные уведомления где-нибудь в сейфе КГБ или в лучшем для нас случае — на помойке...

И сейчас, спустя столько лет, когда страна — да разуйте же глаза — стала совсем другой, многие еще не излечились от нашей социальной шизофрении, заболевания безусловного, серьезного, возникшего на подозрительной почве самой нашей жизни, но, между прочим, и подымавшей безобидного и бесполезного, как таракан, обывателя в его собственном насекомом мнении: его письма... читают, они кому-то (ИМ!) интересны...

С моим не самым жестким, но и не бесследным для всей скомканной биографии опытом общения с органами (запрещение-таки на профессию, вынужденный уход в котельную — на самое социальное дно, о чем я, кстати, ни разу не пожалела, хотя ниже меня была теперь только земля) эта минутная мысль была, наверно, простительна. Тем более что я от нее сразу же отмахнулась, как от назойливой мухи, потому что в реальной жизни стараюсь не позволять первым догадкам присваивать себе лавры окончательных разгадок, то есть переходить из метафоры в опасное заблуждение...

В это же утро, через пару часов, я встретилась со своим старательным (графического прилежания хватает обычно только на одну страницу, то есть на документ), будто бы школьным почерком, подшитым в папку, на столе раскосой девки (желтая раса всегда как бы без возраста: и дети — как морщинистые старички, и бабушки — маленькие, как пигалицы, особенно сзади), девки бойкой, напившейся цивилизации, и от этого еще более наглой, не потому ли целый этаж занимали ее вьетнамские родственники, а нас было: пять, шесть... восемь... Нет, опять сбилась...

Во-первых, какая-то сумасшедшая старуха, которая скакала по комнате, как коза, и которую маленькая девочка лет двенадцати покровительственно и раздраженно называла Катей, а Катя все прыгала между нар и требовала срочно позвонить в обком партии и рассказать, как ее обижают...

Еще один дядька, пронзительно шелестя упаковкой (звук — будто ножом по стеклу или ногтем по капрону), уписывает за обе щетинистые щеки ветчину с шоколадом и захлопывает чем-то из бумажного стаканчика...

А молодая и бесцветная бреет посреди помещения (собственно, никакого "посреди" нету — там ее "дом", ее территория, очерченная постелью) свои волосатые ноги трескучей машинкой, иногда взвизгивая от боли...

Надо мной что-то кряхтит, свешивается с верхней койки и совершенно спокойно, будто ничего не случилось, спрашивает домашним, всегда немножко ворчливым, потому что, разумеется, деспот, нетерпеливым голосом:

— Сколько времени, мама? И вообще я проголодался!

Нет, не "Пряжка". В "Пряжку" всей семьей не кладут, во всяком случае, в одну палату... Гутен морген, Германия! Пора просыпаться...

Есть на чужбине счастье: засыпать
Лицом - к стене, как над обрывом - птица...
Еще чуть-чуть – и Родина приснится,
И мягким снегом станет засыпать...
О Господи, какая благодать...
Но, Боже, как скрежещет черепица...

Как безгранично красив этот маленький городок, я увижу потом. Откроется очарованному взгляду и дом на острове, остров — дом, чье лицо, захлестнутое мокрыми ивами, отражается в темной воде всеми своими дрожащими абажурами, будто красные и желтые листья плывут, будто Венеция, ассоциацию с которой подчеркивают горбатые мостики, легко спрыгивающие на твердый асфальт... И крепостная стена, взбирающаяся на покатую гору наперегонки с виноградником из века, судя по нехитрой, но крепкой кладке, тринадцатого и, наконец, водрузившая на самом верху, на лобном, что называется, месте коренастую башню! А внизу — узенькие, звонкие под каблуком каменные улочки с острокрышными домиками-пряниками; по какой ни процокай — обязательно выведет на рыночную площадь, окруженную неперенным готическим орнаментом: потемневшая за столько эпох стрельчатая

ратуша с круглыми кукольными часами, а слева и справа — кремовые стены строений, сверху донизу, нет, снизу доверху, впрочем, не важно, расчерченные шоколадными ромбами и квадратами. А в скромном уголке, на скользких от брызг камнях — приземистый круглый фонтанчик со своим провинциальным достоинством и своей, местного значения, легендой...

Все это — и пунцовые взрывы роз и гераней почти в каждом окошке, и квадраты неправдоподобно синей прохлады под изумрудными шарами парковых крон (городской бассейн, над которым разбрызган, кажется, детский смех всего мира) — я увижу потом...

Когда просто приеду сюда за какой-то бумажкой, ибо справки в Германии собирают с такой же страстью, как в России — грибы... Каждый твой шаг зафиксирован в формуляре, над чем смеялся еще саркастический лирик Генрих Гейне. Но он ушел, а формуляры остались...

Не для того ли и закреплена за каждой квартирой персональный подвал, чтобы к концу человеческой жизни накопилась там целая библиотека одного увлекательного романа с единственным героем на всех миллионах страниц: прививки, штрафы, напоминания об оплате за свет, воду и воздух...

Вот что такое учет, батенька Владимир Ильич, а не ваш на бухгалтерских счетах нащелканный и без счета растасканный социализм... Впрочем, слава Богу, что ни у вас, ни у Сталина с Гитлером не было компьютеров. Сегодня не нужно мусолить ворох бумаг и стаптывать сапоги, чтобы узнать, в ком тлеет осьмушка еврейской крови или чем занималась чья-то прабабушка... Достаточно нажать одну нужную кнопку...

Я смерти не боюсь... Она во мне гнездо
Давно уже свила, и тихо ждет погоды...
Но — осени осин смущенное бордо...
Но — звезд стрекозий блеск...
И так проходят годы...

Как все-таки глубоко въедается в кожу пропаганда, как ржавчина — в железо противостоящего ей человека, имеющего на каждую развесистую тезу свою сокрушительную антитезу. Или это та самая генетическая память, которая спит, свернувшись клубочком, — и вдруг встряхивается, и ошетиливается, и от испуга — гневные трассирующие искры из глаз...

Мы шли по вечернему, полному влажных южных запахов парку над темной, в тяжелой летней истоме, рекой. Мой спутник уже выбирал кусты погуще и от тропы подальше, так как никакой личной жизни в комнате для четырех семей не предвиделось (очевидно, немцы считают, что можно совокупляться в стаде); мне было тошно и липко в три дня и три ночи не сдираемой с плеч футболке (наши вещи остались во Франкфурте, и это было сейчас главной заботой — добыть их обратно); я брела слепо, в тяжелой, размякшей, как инжир, голове медленно шевелились не то чтобы мысли, а, точнее сказать, ощущения: как бы щекотание щупальцев, проползание бархатных жирных гусениц по пересохшим извилинам... В слова это можно было оформить примерно так:

1) Искупаться, переодеться — и умереть...

2) Как все же примитивно устроены мужчины, в них есть что-то от лошадей: скачут неумоимо, лоснятся потом, а потом смотрят, хрустя вечерним овсом, печальными человеческими глазами, как будто и впрямь могут что-то понять...

3) Что же все-таки делать с вещами, вернее, без них, в чемодане и рюкзаке было, можно сказать, "все и только" — лишь самое нужное, без чего даже на фронте не обходились... И зачем только мы поддались на обещания этих услужливых социальных ребят, что, мол, наши монетки придут машиной вслед за нами. Надо было тащить на себе, как эта жлобская бабка — свой неподъемный сундук, и не развешивать раскрывшиеся розовыми гладиолусами, доверчивые к первому теплу уши... Вот оно, первое крепкое столкновение с немецким порядком... Один из прибывших, уже чуть-чуть лопочущий по-немецки (тогда казалось — соловьем заливаются), дознался-таки: в воскресенье в аэропорту дежурили студенты, они, отдежурив, тут же забыли о нас, и теперь ни одна организация земли Хессен не собирается отправлять нам наши фамильные драгоценности (главным образом полотенца, трусы и майки), так как мы приписаны к другой земле, а ни одна организация земли Баден-Вюртемберг не желает связываться из-за нас с землей Хессен и гонять туда за красивые глаза дорогостоящий транспорт... (Однажды сын, лет шести отроду, встретил на ослепительной декабрьской улице роскошного Деда Мороза и замер в волшебном ожидании подарка, но получил только весьма прозаичный ответ: «Мальчик, отойди, ты не из моего микрорайона...») И еще вспомнилось, как наловчились милиционеры перетаскивать с одной стороны улицы на другую «лежащих» пьяниц, когда исполком постановил, что слева будет считаться Петроградский район, а справа — наоборот — Ждановский... Перевалить замухрышку, к тому же, без единого рубля в кармане, на совесть и отчетность соседей было сподручней, чем самим с ним возиться...). Словом, теперь все это были, как говорят на Западе, "наши проблемы", причем, если даже с первого же пособия (обожгло чудом и стыдом впервые в жизни не заработанных денег) завтра рвануть во Франкфурт, мы все равно не найдем там своих (мамино словцо) бебихов, потому что никакой квитанции из камеры хранения у нас нет. А за каждый новый день, по слухам, надо платить в астрономическом шелесте еще не понятной валюты... (В магазин, например, первым отважился войти проголодавшийся сын и, одолжив у кого-то десять марок, притащил хлеб, крупу, мясные консервы и сдачу вместе с восторженным репортажем: "Представляете, все есть, никакой очереди, даже не отмечался, просто купил!.." Просто купил... С тринадцати лет он честно выстаивал за хлебом и сахаром, привычно подставляя ладошку, на которой какой-нибудь еще прочно стоящий на ногах пенсионер, взваливший на себя нелегкое бремя поддержания законности в очереди, рисовал, послунявив, чернильным карандашом двухзначный, а то и трехзначный номер... На полки с

бананами и ананасами сын, как оказалось, даже и не взглянул, как-то не пришло в голову...)

Так вот, брели мы с мужем по таинственному парку и вдруг — где-то там, впереди,— холодным стальным лезвием по глазам — каски...

Не добродушные советские каски, похожие на перевернутые солдатские миски, вроде той, что хранилась под отдохновенной кроватью у Вани Чонкина (Ну да, «добродушные»... А Венгрия, Чехословакия, наконец, Афганистан?..), а именно те... Те самые...

Одна... Три... Пять... Целая дивизия... И голоса...

Господи, почему в ушах "Ахтунг! Ахтунг!" — и методичный стук солдатских сапог: "айн-цвай, айн-цвай"?..

Слабая, мертвенно светящаяся луна дорисовывается мгновенным воображением в злобещий череп, сапоги стучат уже прямо в виски: "айн-цвай"... Бежать!

Стоп... За касками полыхает в остановившиеся от страха зрачки машина обыкновенных стихийных бедствий: пожарники отдыхают... Шланг, вися по траве толстым безобидным ужом, тихо сползает в воду...

Душа медленно возвращается из пяток на свое привычное место (на какое именно, этого я никогда не могла понять, потому что если она на месте, то ее просто не замечаешь, не чувствуешь, а ежели она, как говорится, болит, то болит почему-то везде, во всем ноющем при каждом шевелении тела). А в щеки ударяет откуда-то изнутри гжучая пожарная краска... Я всегда ощущаю приливы стыда в темноте и одиночестве. Мне совершенно не важно, что никто не поймал меня как за руку за нехорошую мысль... Человек сам ответственен перед собой, как, может быть, перед Богом, за все грехи, содеянные им в мыслях или в воображении. Поэтому я люблю хирургически точного Ницше. Он тоже не миндальничал ни с кем, ни с целым народом, ни с одним из своих мучительных "alter ego". Иногда кажется, что он писал не пером, а сверкающим скальпелем...

Разумеется, широко распространенную нелюбовь к немцам ("боши", "фашисты") можно легко объяснить двумя затеянными с их стороны мировыми войнами. И если умница Бисмарк (опять же немец) сказал, что каждый народ достоин правительства, которое он выбирает, то достоин он, народ, и отношения к себе согласно своим деяниям...

Стук сапог у меня в висках полвека спустя — еще один обвинительный акт, неумышленно предъявленный Германии. А сколько таких молчаливых и никому не известных нюрнбергских процессов проходит — судорогами — в каждой еврейской, тоже неглупой, согласитесь, господа воинствующие антисемиты, на всю жизнь насмерть перепуганной голове...

Нет, национальность не "надевают", она — кожа. И еврейская кожа имеет глаза даже на спине: я всегда чувствовала каждый недоброжелательный в этом абсолютно бессмысленном смысле (ну и что с того, что еврейка, могла бы и чукчей родиться) взгляд. И в тот год этот особенный взгляд слишком часто обжигал спину в раскрепостившемся во всех отношениях Ленинграде... Это было страшнее, чем неслыханное убийство в так называемом Доме творчества: какой-то русский писатель убивает какого-то русскоязычного писателя, то есть еврея, ножом при всей, полагающей себя почтенной, публике... Маньяки были всегда и есть везде, но именно там, где концентрация этих взглядов вдруг превышает обычную общечеловеческую квоту (ибо антисемиты тоже есть везде и всегда), маньяки перестают прятаться и даже осмеливаются карабкаться на правительственную трибуну... Мне вдруг пришло в голову, что ответственность за это дикое преступление должен разделить с безумным убийцей наверняка респектабельный и уравновешенный автор нового литературного термина, а именно: "русскоязычные писатели"... Ну да ладно. В возможность погромов я все-таки не верила: не подходит для этого, мягко говоря, неделикатного дела "Невы державное течение, береговой ее гранит..." и никогда не подходил. В том-то, наверное, и причина моего относительного спокойствия: в отсутствии подкожного опыта...

Другое дело — они... Хотя немецких фашистов я видела только в кино, и то мельком, когда туда водили со школой, потому что сперва просто не любила фильмов "про войну", а потом уже сознательно отметала от себя все, что в искусстве называлось "соцреализмом", но я обожала отца, а существенной частью его жизни была, как это ни ужасно, война...

И когда я в детстве с трепетным замиранием прикасалась к отцовским медалям (в мандариновом блеске их мнилось что-то церковное, ну, конечно же, православное, потому что деревенская няня водила меня к заутрене), представлялось, как едет он с войны все эти, до моего вселения в мир, два года на расхлябанном трофейном велосипеде, о который с нехорошими словами спотыкались в темном коридоре снующие взад и вперед соседи по коммуналке...

Водрузив флаг над рейхстагом (я всегда как бы пририсовывала отца к примелькавшемуся газетному фото), он был назначен комендантом (Дантом?..) какого-то загадочного немецкого "бурга", откуда и отозван по доносу кого-то из сослуживцев за "мягкотелость", то есть за то, что отдал приказ делиться армейской кашей с капитулировавшими женщинами и детьми...

Теперь вы легко можете подсчитать, если еще не разучились загигать пальцы и ходить за хлебом без калькулятора, что именно последнее обстоятельство и позволило мне через определенное время сообщить о своем появлении на свет...

Сделала я это, судя по маминым устным мемуарам, громко, решительно, тогда как родители, наоборот, онемели от счастья...

В первую минуту они увидели во мне еще не меня, а своего первенца, Валю, который не стал в семье старшим, потому что скончался трех лет от роду от стремительного тифа в медленном поезде, проталкивавшемся под бомбежками на Урал, как червь — в безопасную глубину земли... Мама, схоронив его где-то на полустанке, наскоро, безымянно, вскоре обезумела в своей нижнетагильской многотиражке от еженощных призраков сына в батистовой рубашонке и рванулась на фронт, к отцу, под крыло — в смерч...

Через границу Германии она переступить не смогла. Очевидно, боялась собственной ненависти...

Вернулась измученная в измученный город, в маленькую комнатку на родной Петроградской, где после всех потрясений, после синюшной блокадной зимы, ставшая полупрозрачной соседка встретила нежной горсткой фиалок в граненом стакане и... рыданием извинений, что два родительских стула все же сожгла, когда уж совсем околевали от холода...

Какая-то, я бы даже сказала сегодня, патологическая порядочность, и ведь не у немцев (еще один миф), а у самых что ни на есть наших, вернее, наверное, у многих — в том далеке... Нравственность поколения, не развращенного знанием...

Увы, в какой-то мере действительно так, потому что поверхностное знакомство с философией общества и психологией личности бросает в рыхлую почву только зерна разврата. Убийца, наскоро пролистнувший Ницше, осыплет наивных господ присяжных такими невероятными аргументами в свою защиту, как будто он — невинный младенец или сам — с небесной прописной — Судия... Тем более что господа присяжные обыватели обожают демагогию. Не потому ли и выходят из зала суда — сюда, к нам,— под сентиментальные слезы умиления своих завтрашних жертв матерые мародеры... Их адвокаты изощрены в софистике.

Стоит ли напоминать культурному читателю — а некультурный на эту повесть плюнул, хорошо если не в буквальном смысле, с первых же строк,— что Ницше в этом не виноват... И что Вагнер не посвятил Гитлеру ни одной своей самой капельной ноты хотя бы уже потому, что умер в предыдущем столетии... Один не шибко трезвый защитник прав человека заявил как-то в гостях, что терпеть не может "нечеловеческую музыку" Ленина, машинально приписав вождю пролетариата похваленную им и ни в чем не повинную "Аппассионату" Бетховена...

Но в ту пору — пора бы уже и вернуться, пусть еще не в Германию, но хотя бы в то странное учреждение по имени загс, в аббревиатуру, которая расшифровывается не менее загадочно: запись актов гражданского состояния,— мою окруженную розовым чепчиком голову, признаться, еще не тревожили все эти чудовищные вопросы, и она просто с любопытством озиралась вокруг, чувствуя себя в полной безопасности на руках у папы. (И чепчик, и фотография сохранились, что помогло мне восстановить в памяти эти волнующие минуты...)

Там меня зачислили в славный человеческий род, не забыв, впрочем, вписать в свидетельство о рождении, что и мама моя, и папа начинают с ехидной буквы "е", то есть что я всю расстелившуюся передо мной жизнь буду еврейкой, даже если изо всех сил постараюсь стать очень хорошей девочкой...

И вот тут мы подходим, может быть, к самому главному. Обозначили меня в честь бабушки, папиной мамы, которая не могла этому порадоваться, так как фашисты сожгли ее живьем в сарае в белорусской деревне, вместе с двумя мальчиками, Борей и Сережей, которым суждено было — было бы — стать моими двоюродными братьями...

А это значит, что в какой-то мере я проживаю и бабушкину жизнь — веду связанную узелком в порванном месте ниточку дальше...

Стоит ли удивляться теперь, что если она, эта ниточка во мне, вдруг натягивается до предела, до звона — где-то в затылочной части слышится снова рокот войны...

"Ахтунг! Ахтунг! Айн-цвай..."

А тут еще эти злополучные каски...

Но я решительно отбрасываю со лба прилипшую прядь, чтобы смахнуть заодно с ней и жуткое наваждение, и густо краснею в безлюдной темноте парка...

— Ты чего? — спрашивает муж, наконец заметив что-то неладное...

— Да так, ничего, просто голова разболелась...

И думаю о том, что, подумать только, как должны себя чувствовать наши здешние ровесники, если через поколения, после стольких взаимных объятий, на бессознательном все-таки остается лежать это зловещее пятно, тень свастики, будто отражение въевшегося, впившегося в песчаное дно краба... (И чем прозрачнее вода — тем отчетливее это раскоряченное клеймо.) И еще я почему-то вдруг думаю, что если тихому, остепенившемуся человеку все время напоминать о его детской, пусть не провинности, но даже юридически отбытой виновности, или тем более напоминать об этом его детям, то чаша терпения может когда-нибудь переполниться: "Вы хотите нас видеть снова такими? Ну что ж!.." (И не провоцируем ли мы сами, весь мир, и в том числе неутешные, понятно, евреи, немецкий народ на новый круг ада?..)

Если бы все они, немцы, и даже русские, понимали, что значит чувствовать ЭТО кожей, чувствовать под всеми транспарантами, при всех брудершафтах, если бы могли ощутить этот холодок отчуждения вокруг, и этот липкий, отвратительный страх, сползающий по спине... Совсем маленький, незаметный, потому что я — не из робких: могу, если что, и врезать по-русски, от всей души...

Человек-невропат

появился на свет невпопад.

Все смеялись и пели,

а он только хныкал и плакал...

И будильник над ним

так настойчиво тикал и такал,

что устал и уснул...

Человек же — проснулся и рад!

Все уже позади:

ненавистная школа и двойки;

можно плыть далеко

и мороженым горло студить...
Беззапретная даль...
опустели родителей койки...
Зарыдал невпопад,
что не смог до Земли проводить.
Человек-невропат
завернулся в купальный халат
и в метро погрузился,
и, видимо, ехал куда-то,
и в газету смотрел,
и отметил эпохи распад,
и вернулся – вдвоем,
не заметив такого расклада...
Чем хорош постулат?
Что живет человек невпопад,
посещает работу,
порой получает зарплату,
или – наоборот...
И дела его дышат на лад –
ан...
И взялись уже над его головой –
за лолпату...
...Но сперва от звезды
отделился сияющий атом:
Человек Человекович –
плакать и петь невпопад...

Надо было как-то начинать жить, а как?.. Как, если ты физически не можешь засыпать в коллективе? Если бы мне сказали тогда, что ровно три года, 365 ночей, помноженных на три, больше тысячи раз я буду мучительно звать сон, особенно сладкий потому, что в нем исчезает все: и нары, и железный привкус крепко-накрепко стиснутых зубов, и знобящее чувство бездомности, неприютности, будто дождь забивает мокрые гвозди тебе за шиворот, и весь этот абсурд и кошмар, называемый эмиграцией,— я бы, наверно, повернулась на 180 градусов и бухнулась в ножки нашей формуляролкой, кажется, не имевшей глаз, во всяком случае, я их не заметила, ленинградской паспортистке... Или, наоборот, терпеливо ждала, купив с полочки (к пособию постепенно привыкаешь как к заработной — заработанной тяжким трудом — плате) отрывной календарь и каждый вечер вырывая из него с хрустом еще один мучительный день...

Но кто и что мог мне тогда сказать? В том-то и дело, что говорили, вернее, вкочали и кудахтали вокруг похожие на гибрид кури с индейкой панические соседки. (Но почему, почему, когда евреи собираются вместе, становится так противно и шумно?..) А именно они-то как раз ничего путного сообщить не могли... (Так часто бывает в жизни: кому есть что сказать – тот благоразумно молчит, а у кого голова пустая – у того и полный рот слов, лузгает, как семечки...)

Каждое утро коридор, а потом и двор (или же в обратном порядке) замирали от какой-нибудь грандиозной новости... То всех отправляют в Берлин, где каждому дают по Оперному театру или бывшему музею для проживания — в качестве компенсации, потому что канцлер Коль сказал, что немцы перед евреями сильно провинились. («Я подарю тебе Большой театр и Малую спортивную арену».) То, напротив, шлют в глухую деревню, где на тридцать германских верст не сыщешь врача. (Забегая вперед, скажу, что, если убрать числительное как явное преувеличение, то именно такое случалось, причем, как назло, с бывшими жителями российских столиц, людьми без провинциального напора и апломба.) То всех (ну, конечно же, всех, а как же иначе, советский человек не может воспринимать себя как отдельную особь) отправляют обратно в Россию, потому что там, говорят, уже нет такого опасного антисемитизма. То, наоборот, завтра же всех нас вывозят в Америку, потому что там его, антисемитизма, еще нет... (Наверно, потому что квота по приему евреев невелика...) – «Америка добрая, там все дают, не жизнь, а сказка...»

Как у большинства русских интеллигентов, у меня не было никогда и мысли уехать в Израиль. Эта странная страна являлась мне не Землей обетованной и даже не Храмом Гроба Господня, а чем-то вроде одесского Привоза, наспех воздвигнутого на экзотических песках близ Ашхабада. Ассоциация, которая могла вырасти только из действительно счастливого детства в огромной стране...

Но вернемся к нашим евреям...

Интересно, что русские евреи почему-то воспринимают себя со стороны как некое пассивное месиво, стадо, которое кто-то грузит, везет, которому что-либо дают или у него что-то отбирают. Роль личности здесь, в этой истории, как бы и вовсе не предусмотрена...

Может быть, религия – это бессознательно культивируемая сказка об избранном народе, призванная компенсировать свойственные ему малодушие, готовность унизиться, схитрить, печально-комичное раболепие всегда и отовсюду изгнанных, выветрить которое невозможно не только за 40, но и за 40 тысяч лет?

Мне, например, столько раз являлся куст, что в голове (и, соответственно, на бумаге...) расцвели целые сады, но

я бы никого и никуда не повела... Человек – сам хозяин своей судьбы. А ежели Бог не Небеси (это уже камень в другой религиозный огород, ибо еврейский Бог – не милостив, он только карет и защищает от других народов) выполняет свои функции пастуха, то люди – получается – овцы. Даже если вы назовете того или иного Бога, карающего или прощающего, суперсовременно, каким-нибудь Звездным Координатором, суть надеющегося на Него, а не на себя, от этого не изменится.

Нет, не зря все-таки ходят слухи, что синагога дрожит от ужаса перед евреями, приехавшими из бывшего СССР. Это же, мол, отъявленные атеисты, безбожники... (Хотя именно себя я бы к безбожникам как раз и не отнесла, как и себе подобных, не кланящихся у Бога, а готовых оказать ему посильную помощь в его нелегкой работе по духовному воспитанию человечества.) То есть, возвращаясь к синагоге, не здание, конечно, дрожит, оно крепкое, серое, похожее на КГБ в Ленинграде, и так же просвечивается насквозь телевизорами, во избежание, говорят, провокаций, а у национальных функционеров последние волосы встают дыбом, и в первую очередь у раввина...

Когда он нанес первый визит в хайм (игрой этимологического случая немецкое слово, обозначающее дом в значении "домой, дома", звучит как типичное еврейское мужское имя), головок в черных шапочках, кипах, накатило во двор столько, будто толпа — это одна дубовая крона, вся в желудях. Слышно было, говоря по-еврейски, ни одного слова, непонятно даже, на каком языке он кричал, доносился только какой-то злобный захлебывающийся лай. Кто-то из добровольцев (среди евреев всегда находятся желающие разъяснить смысл решений сверху другим евреям, потому что никто другой, кроме евреев, их слушать не станет) донес до всех и каждого, что раввин обещал вызвать полицию, если недовольные приемом в Германии будут митинговать и жаловаться. И что рефреном было: "Зачем приехали? Вас сюда никто не звал!"

Судя по его свирепой мимике, в это можно было поверить, хотя я лично предпочитаю верить собственным, не забитым серой догм и ватой слухов, довольно-таки чутким к оттенкам и переливам слова ушам. Но, повторяю, в это легко было поверить, так же, как и в то, что самого раввина чуть было не хватил кондратий (интересно, как это выражение можно перевести на немецкий?), когда он, исполнив субботнюю молитву, вышел в "трапезную" и обнаружил там "гарного" детину, торопливо досасывающего из горла последний сосуд кошерного вина. (Предыдущий катился по полу раввину в ноги с порожним жалобным звоном.) "И это — еврей?!" — с ужасом воскликнул раввин, на мгновение отпрянув, и тут же услышал исполненный другой местечковой гордыни ответ: "Не, мы хохлы!" Сей обладатель звания контингентного беженца, то есть бедняги, чудом спасшегося от угрозы погромов на Украине, еще не привык к тому, что теперь он — как говорила моя мама — "аидише", а не какой-нибудь "гой"... Сказывают, что раввин, тут же придя в себя, схватил его за шкирятник и вытолкал в зад ногой за тяжелую дверь Божьего храма. А заодно и его несчастных жену и дочку.

Мне только неясно, почему они все не могут понять друг друга: ведь и те, и другие стараются взять от жизни весь ее алкоголь: водку, деньги, недвижимость, машины, престиж — словом, все, что может дать именно ЭТА жизнь, если ее хорошенько потрясти... Впрочем, в конце концов они находят общий язык и по молчаливой договоренности разделяют мир на сферы влияния...

А мы с Иосифом Бродским никогда не будем обласканы ни одной церковью. И слава Богу! Но именно мы прославим и наш еврейский, и наш русский народ, как это уже сделали Осип Эмильевич Мандельштам и Марк Захарович Шагал, которых теперь не могут поделить между собой сионисты, капиталисты и коммунисты...

...А жизнь между тем все еще не начиналась... Да и как ей было начаться, когда дом гудел с утра до ночи встревоженным ульем, стояла неслышанная даже для этих мест жара, моя шуба топорщилась на гвозде в углу, как белый медведь, угодивший в Африку...

Вещи все-таки привезли, обнаружился не то какой-то общественный шеф, не то одинокий охотник за одинокими женскими сердцами, совмещающий приятное для себя с полезным для переселенцев, некто выше среднего роста и возраста, улыбчивый Генри. Благодаря его усилиям и автобусу встреча с багажом наконец состоялась, на глазах у вновь обретших свое прошлое (у кого-то там были старые драгоценные фотографии, у кого-то — запрятанные от таможи в уют бриллианты) блестяли слезы умиления, молодая пухленькая профессорская дочка осыпала лысину доброхота спелыми благодарными поцелуями. К счастью, по-русски он не понимал, потому что она тут же громко объявила, что еще один месяц такой жизни — и она будет готова выйти замуж за Генриного папу...

У нас на чердаке вдруг образовались две свободные койки, в горле приятно заохлоло, как от льдинки в бокале, от нескольких проскользнувших в его туннель дополнительных кубиков кислорода, но уже утром в помещении по-спортивному вшагнули (о, ужас, сейчас его вторая длинная нога упрется огромной, неизмеримого размера, кроссовкой в противоположную стену, в одуванчиковую головку сумасшедшей старухи) и представились он и она, Костик и Таня, юные геофизики, ленинградцы, симпатичная пара с отнюдь не еврейским оптимизмом и крепким, еще не расшатанным чувством юмора. (Именно чувство юмора поможет Костику впоследствии, когда он подзаработал в качестве, точнее, в шкуре медведя на городских праздниках и "дитюрцумахера", дежурного на воротах местного дурдома, написать на двух, даже на трех, включая английский, языках диссертацию и стать доктором наук, а также представителем одной немецкой фирмы уже — обратно — в России.)

С их прибытием в нашем удушливом гетто, невзирая на прежнюю тесноту, значительно посвежело, во всяком случае, для меня...

Я не оговорила, употребив это слишком много говорящее каждому еврею слово. Таково было мое субъективное ощущение. Маленький концентрационный лагерь, откуда каждое утро плачущие провожающие помогали кому-то сносить в поджидающий у ворот микроавтобус громоздкие советские чемоданы и раздувшиеся, как дирижабли, одинаковые синие сумки, купленные по дешевке в турецком, разумеется, магазине. Постепенно всех отправляли из временного распределителя (привет их распределителю от нашего накопителя) дальше, кого куда, но мне почему-то казалось, что, когда этот чистенький белый домик без окон, на пористых, влажных после машинной

бани колесах отъедет подальше, в сторону леса,— в него пустят газ... Казалось без всяких, повторяю, к тому оснований, разве только по тонкой зависимости восприятия от предшествующего опыта, при том условии, что мы включаем сюда и опыт генетический. Но, видно, и остальным, не знакомым с завихрениями доктора Фрейда, тоже чудилось нечто такое, похожее, иначе чего же плакать при расставании в свободной стране, в которую так стремились? Соскучитесь — так поезжайте друг к другу в гости, благо Германия невелика, не больше средней по площади республики бывшего нерушимого...

Так вот гетто с появлением молодежи обернулось обыкновенным студенческим общежитием, в нем появились легкость временности, налет небрежности по отношению к собственной жизни, да и вообще кто в висящей над жизнью мансарде задумывается о будущем?..

Мы пили вино, стучали с Костиком в четыре руки на двух пишущих машинках, сидели посреди всего этого бедлама, между жующих и бреющихся, и вспоминали наперебой старые анекдоты, а вокруг нас уже выскакивали, как шампиньоны из-под земли, новые, местного производства, те, что нарочно не придумаешь...

Молодая дама, как выяснилось потом, врач из Москвы, требовательно постучав, что, учитывая нашу густонаселенность, было немножко смешно, решительно вошла к нам на чердак с большим, дочерна исписанным с обеих сторон листком наготове.

— Здесь принимают жалобы?

— А вы, собственно, по какому вопросу? — заняв деловитую и немножко самодовольную позу, осведомляется Костик и незаметно мне подмигивает: мол, сейчас начнется, включайтесь в игру...

— По вопросу нашего невыносимого существования! Мне сказали, что вы тут пишете. Я тоже написала, правда, от руки и по-русски...

— Ничего, ничего, мы и переведем, и напечатаем, и в правительство передадим,— утешает ее Костик и торжественно принимает петицию, ища глазами, куда бы ее приткнуть или засунуть. (Везде валялись чьи-то носки, гребенки, печенье.)

Особенно вдохновило меня его обещание перевести: мы как раз хором разучивали “ауф видерзеен”² и “дас веттер ист гут”³ по привезенным из России кассетам.

(Если бы какая-нибудь ясновидящая, каких во всем мире развелось вдруг видимо-невидимо, накуковала бы, напророчила мне тогда, что уже через три года я напишу книжку стихов на немецком языке, а через четыре — две мои немецкие книжки будут здесь, в Германии, изданы и в здешних газетах меня уже начнут называть немецкой поэтессой, я бы скорее всего удостоверилась, что это все-таки “Пряжка”, нормальный сумасшедший дом.)

Между тем “дас веттер” была действительно “гут”, синее небо и желтое солнце восхищали детей компьютерной яркостью красок, взрослые же с деловым видом копошились, суетились и возмущались, а жизнь, повторяю, не начиналась. (Беру на себя смелость утверждать, что не только моя. Многие из приехавших в то раскаленное лето начнут жить в полном смысле этого слова лишь спустя несколько медленных зим, когда начнут понимать, о чем щебечут немчата в трамвае, переедут в отдельные квартиры, кто-то найдет работу. А кто-то так и не начнет жить уже никогда...)

Домовитая, хлопотливая супруга профессора-диссидента, больше похожая действительно на чью-либо супругу, чем на преподавательницу математики, впрочем, она о работе здесь уже и мечтать не смела, радовалась простым радостям приготовления заграничной пищи и радушно зазывала новых знакомых то на тушеного гуся, то на какой-то невероятный суп. За ее оптимизмом угадывалась не животная сиюминутность мироощущения (пожрали — и уже хорошо), которая, кстати, спасает людей с куриными мозгами от многих трагедий человеческого бытия, а некая основательная философия: она принимала жизнь такой, как есть, помнила, что евреи — всегда скитальцы, верила в молодежь... “О, наши ребята еще рванут, еще потрянут Германию”,— говорила она, разделявая на тесной коммунальной кухне гуся и имея в виду, разумеется, не мафию, а интеллект физика Костика, программиста Миши, прозванного адвокатом за желание дойти до сути всякого немецкого закона и документа, и даже свою, явно недооцениваемую ею Ниночку, которая в конце концов выйдет замуж не за Генриного папу, а за молодого и симпатичного адвоката, немца, и станет сама неплохим экономистом. Унаследовав, кстати, и эту хлопотливую домовитость.

Поселили их в отличие от нас не на чердаке, а, наоборот, в подвале, всего две семьи вместе, зато без окошек. (Фрау вьетнамка, очевидно, узнавала интеллигента по тому характерному гнилому запаху, который безошибочно чувствовали в советских парткомах, и у нее тоже этот запах, настоящий на беспомощной деликатности, вызывал раздражение и желание навредить как только можно... Все мы не без основания поеживались от перспективы оказаться в деревне...)

А пока Инна Леонидовна украшала гуся морковными звездочками и, хотя совершенно не понимала, почему я не то чтобы не хочу, а почти совсем не могу есть (гусь ведь такой сочный, с янтарной корочкой), все же не обижалась и делилась со мной планами:

— Абрам Семенович уже старый, почтенный, наконец я смогу купить ему настоящий талес...

А сам предмет ее забот, профессор, курил во дворе с мужчинами (просилось написать “с мужиками”, но к пожилым евреям этот термин как-то не клеится) и нетерпеливо кричал мне в окно кухни, чтоб вышла... Потому что раздобыл у кого-то и на мою долю блок “Столичных”, всего за пять марок, то есть по себестоимости. (Больше такого чуда не повторялось. Наоборот. Пытались втхотать «на новенького» дары помойки, набивая им цену до магазинной. — Пока этот «лопух» еще не уяснил, что помойка, то есть «шпермюль» - отнюдь не закрытый распределитель, она тут для всех желающих покопаться... И вообще, если эмигрант еще «тепленький», его надо одеть, обуть, застраховать от всех бед в своей, понятно, страховой компании, которая через год лопнет...) Абрам Семенович звал, нетерпеливо, радостно, желая сообщить мне приятную новость (он уже понял, что я курю, даже не как сапожник, а как целая

обувная фабрика, и никакого пособия мне при здешних ценах на сигареты явно не хватит...) Я наконец выскочила, прервав на полумечте монолог его жены, и в ответ на вопрос, о чем мы с ней так долго болтали, нечаянно объявила (во всеуслышание!), что Инна Леонидовна собирается купить ему... фаллос! И, похолодев от всеобщего замешательства, пролепетала что-то насчет почтенного, назвав его второпях преклонным, возраста...

Думаю, что это была оговорка без тени лукавого Зигмунда. Просто, наверное, античные термины расположены у меня в голове ближе к вкусовым рецепторам языка, чем символы иудаизма. И с этим придется считаться тому, кто решил все-таки сопровождать автора до конца его труднопроходимого, хотя местами и забавного повествования...

Там был «три звездочки» – коньяк, а здесь «три звездочки» – отель...

Пятиконечная звезда – шестиконечная звезда...

Закрутим жизнь свою, друзья, как новогоднюю метель!

(А где сравниваемся с землей – не так уж важно, господа...)

Поэт угрюм, поэт не вхож ни во правительство, ни в храм,

Не посещает он, как Бог, молений в собственную честь...

Напрасно ждешь, наивный бомж, ты исцеления от ран –

Помойся в бане, поспеши все книги мира перечитать!

И ты, иссушенный монах, поди тоску свою развей

В какой-нибудь публичный дом, потом покайся – и светись...

Мне столько раз являлся куст, что если я – не Моисей,

То это только потому, что мы – как род – перевелись...

Пророков нет, пороков нет, есть куражи и муляжи,

И грабежи, и кутежи, (А витражи – для приходящих...)

Закрутим жизнь свою. Друзья! И пусть кремлевский вечный жид,

Пусть даже он найдет покой, и, наконец, сыграет в ящик...

Мы с Цветаевой выдержали до 49-ти. Я говорю об этом как о свершившемся факте... Она культивировала в себе Германию до войны, я – после, у каждой из нас были на это свои придуманные причины и своя реальная жизнь, которая закружилась петлей.

Что проку в чтении, если ни жена Лота, ни Орфей не отучили нас оборачиваться. Какой смысл даже в самом святом писании, если ради него был порублен торжественный логос рош...

В ноябрьском лесу мне всегда мнился костный туберкулез, как на юношеских застольях – надрывный фальцет поминок.

Какие внешние перемены могут помочь тому, кто подставляет лицо под первые крупные капли беды с восторженным трепетом узнавания, кому неотступная мысль о неизбежном разбивает надежды параличем и приковывает к дивану похолодевшее тело...

Я верю в безусловные рефлексy, освобожденные от внешних догматов. Когда люди действуют на уровне подсознания, сразу ясно, кто благороден, кто негодяй, а кто – просто раненое животное. Но для этого надо содрать с них кожуру...

Поэтому и тюрьма, и война, а даже нависающий атомный катаклизм прописаны нам свyше, чтобы очистить обобщенный человеческий организм от окаменевших шлаков.

Не Цветаева – сестра моя во поэзии, но Ницше – брат во суровости – со мной бы согласился: Земля – это круглая задница, набитая дерьмом. Чтобы понять это, не надо совершать кругосветное путешествие...

(Представляю, каково читать сей обвинительный акт воинствующим гуманистам, как дрожат они от нетерпения разорвать автора на куски, ибо во имя торжества своей декларируемой «доброты» готовы истребить всех, ставящих их весьма соблазнительную идею под сомнение...)

Глупость всегда человечна, ибо она нуждается в одобрении – и поэтому обращается к человеку. Так в набитую соломой вегетарианскую голову не проскальзывает иголкой простая мысль, что наши башмаки обрушиваются в траву, как многотонные бомбы, сметая с лица земли зазевавшихся насекомых и тысячи ни в чем не повинных микроорганизмов... Ибо мирские оракулы и ораторы видят только свою, приятную внешне, да еще принаряженную в словеса правду...

Посягнувший же пуститься на поиски Истины (представляющей собой правду непомерную...), рискует не только заблудиться, но и показаться жестоко, даже как бы не человеком, а свирепым и безжалостным монстром. Но он знает, на что идет, и готов остаться один в пустыне, Моисей – без народа...

Интересно, что русские поэты, доходя до этой черты, чаще всего выносили смертный приговор себе, а немецкие философы – обществу, и доживали до безмятежной, как младенческий сон, старости, окруженные порхающими бело-розовыми ангелятами озорных внуков и тихих воспоминаний... Хотя и те, и другие были идеалистами.

Философия – поэзия мысли, не опьяненной любовью, и, значит, не столь уязвимой в своей обнаженности. Здесь, как на операционном столе, нет ни стыда, ни греха, – лишь одна голая, распластанная во весь рост, Истина...

И в этом значении ни псы-рыцари, ни, лишенные какого бы то ни было, даже зловещего романтизма, свастикарукие убийцы наших отцов не отучили нас с угрюмым упорством любить Германию.

Советская пропаганда, как всегда, добиваясь обратного, только подогривала этот тайный роман, навесив свой амбарный замок на готическую культуру и населив кинофильмы («из всех искусств важнейшим» для них являлось оно...) армией дураков, с трудом научившихся произносить несколько русских слов типа «яйка – масло». (В

следующем кадре уже обычно было «Гитлер капут!»...)

На все готовые, по-детски любознательные юные пионеры не раз смущали взрослых неприличным вопросом: если все немцы – такие глупые, почему же с ними столько лет воевали? Взяли бы сразу Берлин – и дело с концом!..

Тем более, что, как было известно «самому читающему в мире народу» (все заштампованные цитаты – в кавычках, но без указания автора, ибо они уже почти фольклор), как становилось ясно из самых зачитанных библиотечных книжек, их многочисленные, но незадачливые шпионы давно обезврежены (почему-то шпионы всегда ползли ночью через границу, как тараканы – под дверь), а наши доблестные разведчики успешно действуют на территории врага, которая – так почему-то получилось – весь мир...

Даже наивные, образно (очень образно...) говоря, малообразованные люди, которые не подозревали о существовании ни у них, ни у нас концентрационных лагерей и никогда не бывали в запасниках академических библиотек, иногда супились (хмурились) на эту политическую хлестаковщину...

Такие имена, как, скажем, Шопеншауэр, Шеллинг, Юнг для их неискушенных ушей прозвучали бы как еврейские (что-то вроде врачей-отравителей), но их не омраченные интеллектом, круглые, как блины, крестьянские лица помнили зловещее дыхание надвигающихся «Тигров» своей обожженной кожей...

Так сложилось, что эта война стала главным впечатлением их земной жизни (а надежду на другую, вечную жизнь у них отняли, как грудь – у младенца), единственным путешествием, единственной темой воспоминаний и поводом для гордости. И хотя так называемому простому, замордованному трудовой, а не высшей нервной деятельностью, человеку охота иногда побахвалиться на досуге своей хитроумной смекалкой, но настолько деморализованный образ врага унижал уже и его, победителя. Потому что одно дело с рогатиной на медведя ходить, а другое – с пушкой на зайца...

Словом, если бы рот народа не был забит страхом и матом, именно он, народ, а не «гнилая интеллигенция», объяснил бы своим так называемым «слугам», если не что к чему, то уж во всяком случае, что совершенно ни к чему...

Нам, питомцам Альма-мачехи, ибо ленинградский университет имени партийного (как лучше написать: полудурка или недоумка?) деятеля, известного своей заботой о культуре, тоже не поощрял разных там блудниц и мелкобуржуазные взгляды, нам все же доставались цитаты, как объедки с чужого стола, дававшие некоторое представление о роскошном пиршестве мыслей в далеком от нас мире...

Как палеонтологи восстанавливали мы доисторическую – до исторического 1917-го (еще одна дата, которую в меня таки вколотили) философию по ее перемытым в наших учебниках костям... Гениальность марксизма-ленинизма – по логике авторов учебников – заключалась в растапывании и оплевывании буржуазных идей, за каждой из которых стояла – и виделась нам сквозь мусор слов и патетику политических склок – Личность... И мы не могли не заметить, что родной язык философской мысли – чаще всего немецкий...

А «Буря и натиск»!.. А один Фауст – настоящая Энциклопедия Искушения!..

(Не говоря уже о мистическом ворчании гофмановского Мурра, в честь которого было названо столько котов из хороших ленинградских семей... В том числе, кстати, и мой первый котенок, оказавшийся после внимательного рассмотрения кошкой, и со вздохом переименованный в Муру...)

И все это еще до Кафки и Гессе, обозначивших кривизну воздуха, до восторженно встреченного именно в России «Вход – только для сумасшедших»...

Иногда мне даже хотелось засесть за немецкий, впихнуть в переполненную чужими и своими строчками голову купленный по случаю шкафоподобный словарь, чтобы услышать за русскими буквами гортанно-надменный голос готической мысли...

И вот я здесь, и уже бродила самозабвенно по тихому университетскому Тюбингену, где каждый камешек под ногой кажется философским, а башня Гёльдерлина, обрушившая свое изображение в Некар, выплывает оттуда почему-то сестринским профилем другой литературной башни, из слоновой кости, высеченной одиноким эмигрантским воображением из поэтических во всех смыслах легенд...

И вот я здесь, и вдруг меня осеняет холодом, что скоро – конец...

вот и жизнь пролетела
без особых затей
мое плоское тело –
танцплощадка чертей

из пещер высыпают
когда Бог уже спит
и на снег просыпают
треск веселых копыт

а душа как невеста
(не солгал эталон)
в ней на булочку теста
остальное – нейлон

зябко ежится шуткам

и боится огня
(от таких – к проституткам,
все на свете кляня!)

онемевшей рукою
не доплыть до пера
нас по-прежнему двое
как при жизни вчера

я и я и еще я
понемногу везде
воспаленные щеки
растворились в воде

Парило. Хотелось ливня, и не просто хотелось, а дрожало внутри всеми фибрами, звенело всеми натянутыми струнами навстречу стихии, которая так или иначе вот-вот грянет, так уж лучше скорей... Будто по-мазохистски предвкушалось уже, как хлестнет мокрыми ивными струями по лицу,— крепкая, вовремя вlepленная пощечина иногда может молниеносно привести в чувство. Во всяком случае, я бы рекомендовала такой нетрадиционный метод лечения депрессии тем, кто легко разнюнивается и перестает делать дело. Лучше всего просто подойти к зеркалу, увидеть свою отвратительную, землистых оттенков, унылую физиономию — и вмазать по ней, собрав все силы в кулак...

Но в большом, как каток, зеркале были видны одновременно все обитатели чердака, чьи отражения могли бы обидеться на столь есенинский жест и заподозрить во мне “черного”, в каких-то других кавычках или попросту через “ё”, а не интеллектуальное “о”, не совсем адекватного человека.

...Утро просыпалось медленно, с хрустом костей и шорохом целлофана, потягивались, завтракали — словом, все, как обычно, точнее, как стало уже привычно...

В 10.00, согласно образовавшемуся самим собой распорядку, скучивались возле названной так мною “стены плача”, примыкающей к двери администрации, и читали, привстав на цыпочки, пытаюсь перепрыгнуть глазами через плечи первых и третьих, только что прикнопленный список... В коем были перечислены отбывающие сегодня по не известному никому, и в первую очередь им самим, всегда одинаково пугающему новому адресу. (Быть может, так же замарала душа в прозрачном тельце, в проступившем рыбьем скелете, который переправляли, скажем, из Освенцима в Заксенхаузен или — наоборот... Человек постепенно принимает форму окружающего его кошмара, и другой, еще не знакомый, предстоящий кошмар кажется ему не таким комфортабельным.)

Список читали с замиранием сердца, и каждый, кто не нашел там свою фамилию, победоносно взглянув на лица “приговоренных”, отходил не торопясь, с видимым вздохом облегчения... Ибо судьба в лице все той же вьетнамки и ее вечно пьяной помощницы местных кровей подарила ему еще один день покоя: несколько часов хвастливого каляканья в знойном дворе (почему-то все собравшиеся здесь были, по их собственным отзывам, в той, предыдущей жизни, “крупнейшими” и “ведущими”) и еще один поход в местный дешевый магазин “Альди”, где, к слову пришлось, нещадно обсчитывали, так что получалось в итоге едва ли не дороже, чем закупиться в более уважаемой — и уважающей своих клиентов фирме, например, в “Нанц”. Но чтобы не просто щегольнуть всуе английской поговоркой “мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи”, а полностью осознать ее правоту, советскому человеку нужно созреть.

Период моего лично созревания завершился только недавно, очевидно, соразмерно всегдашней опасливой нищете, поэтому я продолжала посещать “Альди” и остаюсь ему благодарной за полученные там вместо положенной сдачи уроки немецкого языка. Именно там, а не позже, на языковых курсах, сдала я свой первый экзамен.

Когда мне недодали в кассе уже сорок, а не как накануне, только десять или пятнадцать марок, из меня вдруг посыпались вместе с выворачиваемыми обратно из тележки продуктами немецкие слова. Они хлопотали в горле и выпрыгивали одно за другим. Монолог быстро захлебнулся сам в себе, не только от явной нехватки слов, но еще и по причине неопытности моей в этом жанре, именуемом в просторечии скандалом: тем не менее кассирша, видимо, прониклась, потому что швырнула-таки в сторону моего лица четыре соответствующего значения бумажки и с тех пор больше не обижала.

Это была весьма существенная новость: здесь, где не нужно стоять в очереди, надо уметь постоять за себя. Надеяться в капиталистическом мире на чью-то совесть — это все равно, что, прогуливаясь без ружья по животрепещущим джунглям лазурного океана, уповать на совесть встречной акулы.

Забегая вперед (только бы кончилась когда-нибудь эта повесть временных лет о переезде на постоянное место жительства), поспешу рассказать еще об одном уроке (вдруг кому-нибудь пригодится в качестве опыта?), после которого я наконец обрела дар речи, причем речи и чужой мне, и чуждой: немецкой по форме — и требовательной по содержанию. Это случилось, когда обстоятельства, не экстремальные, в жизни только одно экстремальное обстоятельство — смерть, но, мягко говоря, щекотливые, вытряхнули меня из привычного, как неприметный, дождливого цвета, драповый пальто, всегдашнего моего комплекса виноватости, притом явно усилившегося в Германии, где тебе платят, получается, за то, что ты еврей. Как будто еврей — это какая-нибудь нужная и полезная профессия...

Произошла эта история месяца через четыре, в столице земли Штутгарте (у раздробленных некогда государств сохранилась феодальная мания своего обособленного величия, перекинувшаяся теперь и в Россию), в неприметном городе Штутгарте, где автор этих сердитых мемуаров живет и по сей день, и живет, вопреки собственным ожиданиям, счастливо (но еще, к еще большему своему счастью, не настолько счастливо, чтобы все к черту бросить и рвануть куда-то в другое место, где опять будет пронизывающе и восхитительно скверно).

Мы уже ходили каждое утро на языковые курсы и ждали не унижительной социальной помощи, а стипендии от биржи труда. Ждали месяц, ждали другой...

Но, когда в кошельке тихо, деликатно всплакнули последние пфенниги, надо было уже побеспокоиться... И я нанесла решительный визит в огромное здание, именуемое "Арбайтсамт". В этой цитадели тишины и порядка тысячи служащих с одинаковыми водянисто-студенистыми глазами сидели за плотно закрытыми дверями и смотрели в слепые квадраты мониторов. К одной из таких дверей я и заняла очередь, выяснив, кто войдет следующим, потому что здесь не принято спрашивать, кто последний... Последним быть не хочется никому, и, вероятно, по причине немецкой заносчивости в обиходе отсутствует эта наиболее точно выражающая суть вопроса форма вопроса.

Впрочем, мне было тогда не до филологически-психологических тонкостей. ..В ответ на мое нечленораздельное бормотание (кстати, иностранцы, гладко владеющие языком, говорят слишком членораздельно, по этой излишней правильности всегда можно распознать Штирлица), - я опять отвлеклась. А нужно же когда-то покончить с этой неприятной историей, - так вот, видимо, все же уловив из моего неподражаемого мычательного бляения главную мысль, потому что слово "гельд" понимает здесь каждый, даже младенец, а тем более государственный служащий, последний посветовал мне пойти "нах хаузе" и ждать письменного ответа. (Как будто я не ждала его уже 61 день...)

Я еще понятия не имела о типичных приемах немецкой бюрократии, отработанных в ежедневной борьбе с посетителями: они как бы не слышат вас, никаких ваших разумных доводов, как бы изысканно вы ни изъяснялись, а смотрят сквозь вас, как сквозь стеклянную дверь, обнажая в улыбке безупречные фарфоровые клыки, и повторяют, как для полуглухих или для полных идиотов: "Вартен зи битте, вартен... пер пост, пер пост!.."4 Но поскольку я точно знала, что хлеб "пер пост" не придет, и не понимала (этого я не понимаю и сейчас и не пойму никогда), почему нужно исхитряться превращать благоденствие в муку, в пытку, в казнь унижением, этот мудрый совет меня не удовлетворил...

Правда, прежде чем мы с вами, читатель, перейдем в следующий кабинет, мне бы хотелось добавить справедливости ради, что в то время служащие всевозможных учреждений еще не получили инструкций, как надо обращаться с евреями из России и приравнивали нас то к бесправным азыюнтам (перебежчикам через границу под видом туристов), то полноправным аузидлерам, эмигрантам из той же России, но немцам, приехавшим на свою историческую родину. А без инструкции чиновник, сами понимаете... Тем более немецкий чиновник... Вскоре неразбериха с документами прекратилась, и евреи стали контингентом "флюхтлинг", то есть навсегда полуправными жителями Германии, если так можно выразиться, а выразиться можно, увы, только так. И еще я пойму, что тысячи работающих бездельников, пропускающие через себя бездельников безработных, все-таки хотят- не хотят, а делают полезное дело, постоянно перепроверяя друг друга и донося по начальству. И что, вполне возможно, эта история, отлежавшись в одной из тысяч канцелярских папок, рассосалась бы впоследствии сама собой, как беременность...

Но в литературе то, что объективно, — совершенно не интересно, и читателю будет гораздо любопытнее узнать, что в голове у меня замигали тогда, как в приборе, тревожные вишневые лампочки: "Надо найти директора!.."

Ну да, по-немецки директор — тот же директор, только "херр", но попробуй найти этого... нет, нет, вы не так подумали... господина в учреждении, похожем на город, с десятками проулков и закоулков...

Служащие, у которых я пыталась спросить, издевательски ухмылялись...

Здесь я отвлекусь еще раз, но, честное слово, уже в последний, - воспоминания о первых днях накатывают, как снежный ком — в горло, - немцам свойственно испытывать странное удовольствие от того, что кто-то другой оказывается вдруг в неприятной ситуации. Даже на улице, если, поскользнувшись, вернее, оступившись, потому что поскользнуться здесь при всем желании не на чем — улицы тщательно очищаются от дождя и снега, споткнувшись нечаянно, человек неловко падает, вокруг него сразу же смыкается отвратительный хохот. В следующую минуту те же веселящиеся кретины помогут ему подняться, вызовут, если надо. «Скорую», наконец, сами доставят домой, но эмоциональная реакция номер один: наслаждение чужой бедой и беспомощностью...

Вообще боюсь, что, приехав в Германию, я ее потеряла; или той, придуманной мной еще в юности, шизоидной, как мокрая лиловая охапка сирени, Германии нет и не было никогда, или она куда-то от меня отодвинулась, спряталась, не желая видеть ни моего хайма, ни арбайтсамта, ни меня вместе с ними... В таком случае я ее понимаю...

Наконец, пройдя, как сквозь строй, сквозь ухмылки и смех, остановилась. Мелькнуло: надо потихоньку пошущукаться с какой-нибудь из уборщиц. Малые мира сего любят вершить судьбы из уголка своего скромного положения. Опыт еще не научил меня, что здесь и на уровне половой тряпки интриги такие тонкие и ядовитые, что куда там нашему самому центральному конструкторскому бюро или отделу культуры при исполкоме... Наоборот, мэр, хозяин города, или канцлер, начальник страны, могут себе иногда позволить быть порядочными людьми. Их за это уже не съедят. А чем ниже, тем гуще и человеческая низость, канцерогенные вещества и существа на дне общества...

Но мне повезло! Одна дружелюбная швабра действительно указала мне нужное направление, скрытую от посторонних глаз лестницу на самый верхний этаж...

Нажав кнопку, я замерла в ожидании, и через несколько десятков сердцебиений до меня донесся громкий барственно-механический баритон — как из космоса в фантастических, прежде всего по своей глупости, голливудских фильмах. Понятно, что он осведомлялся, кто там посмел ЕГО потревожить.

Вдруг испугавшись, что сейчас, как всегда, начну запинаться и дверь не откроется, именно от испуга, громко и покровительственно произнесла свою фамилию так, как будто он обязан был ее вспомнить...

Кажется, это он и пытался сделать, потому что уже менее уверенно спросил:

— Фон вэм зинд зи гекоммен? (От кого вы, стало быть, пожаловали?)

И тут я набираю полные легкие воздуха и выпаливаю по-немецки:

— Ихь комме фон мир. Дас ист нихьт цу вениг! (От себя самое, значит, и считаю, что этого более чем достаточно.)

Сезам открылся...

Я проскользнула сквозь тяжелое дыхание анфилады (в государственных учреждениях используется система соединенных между собой кабинетов, наверное, для того, чтобы служащие могли друг за другом шпионить, а то и кидаться всей толпой на одного слишком докучливого посетителя), и, наконец, какой-то безликий, как все они, но запомнившийся, потому что еще и безрукий, явно еще не директор, но уже кто-то из заместителей заместителя главного заместителя выслушал мою печальную повесть и затребовал по селектору папку...

История наша распутывалась, надо сказать, около часа, как увлекательный детективный сюжет. Оказалось, что от социоламта (собеса, по-нашему) пришло некое письмо, в котором уведомлялось, что херр такой-то, являющийся моим супругом, взял у них ни много ни мало, а ровно 3 (три!) тысячи марок, вроде бы в долг. И поэтому арбайтсамт должен переводить деньги на социоламт, а не нам...

Это был бред сумасшедшего или, что более вероятно, какая-то афера, какой-то междусобойчик учреждений, где что-то все-таки не сработало, какая-то ниточка подвела, потому что вовсе без денег в Германии не остается никто, даже распоследний бомж на вокзале; и это — великое достижение ругаемого на всех углах, точно так же, как и в России, правительства. В России бы, правда, такое правительство расцеловали, и не только бомжи... А уж что социоламт — не соседка и таких денег за здорово живешь никому не одалживает, было ясно даже арбайтсамту в лице моего постепенно все более просыпающегося собеседника. У него даже лицо на минуту появилось, выглянуло из-за формуляра: да что же это в самом деле такое?..

Это была сокрушительная победа. К начальнику социоламта, извивающемуся возле стола ужом, я ворвалась фурией и потребовала объяснений.

Он лепетал, что, мол, зачем было сразу к шефу, такой занятый человек, а лучше бы сразу к нам, мы бы денег дали, да и сейчас, пожалуйста, можно сразу эти... три тысячи...

Неожиданно для самой себя я вдруг окончательно выскочила из серенькой заячьей шкурки собственных комплексов и потребовала письменного извинения; а деньги, мол, пусть придут, откуда положено...

Самое удивительное, что извинение уже назавтра было получено "пер пост", напечатанное на бланке с печатью и заверенное подписью "ужа", который глубоко сожалел о недоразумении и больше претензий к моему "херру" не имел...

Вот с тех пор я и "зашпрехала", зачирикала без остановки, будто заика, с которого шоком сняли стресс... И еще долго болтала бойко, пока не поняла, что все равно это — детский лепет, и, хотя немцы то и дело нахваливали мой язык, угрюмо замолчала как раз тогда, когда и вправду пора было заговорить. Глупые и пошлые собеседники опротивели, а с единственным не глупым и не пошлым пути наши круто разошлись...

Но это уже будет совсем другая история, когда-нибудь в следующий раз, потому что отсюда до нее еще год, еще переезд в столицу земли, за решетку, на свой собственный страх и риск, причем более всего — на страх...

Я окончательно поняла, что нам не избежать деревни, куда уже отправилась семья профессора-диссидента (и откуда потом два года, с четырьмя переездами, выбиралась в любой город, где есть университет и больница).

Проводив самых близких нам хороших людей (многие вокруг плакали, мои же глаза в таких случаях становятся сухими, как лезвия), мы с Костиком на следующее же утро отправились в Штутгарт и уже через час стояли на голом дворе, между жутковатых бараков, голова кружилась от тошнотворных запахов кухни на двадцать или сорок, это уже без разницы, обгорелых конфорок, от кучи в коридоре, о которую мы споткнулись (кто-то из проживающих здесь азылянтов не умел или не хотел — в знак политического протеста — пользоваться туалетом), негров было — как черники на августовской полянке у нас под Сосново (хоть на один денек бы — снова туда, воспаленной щекой — в мокрую зелень с крупными бриллиантовыми каплями холодной минеральной росы); завершала же этот, согласитесь, весьма экзотический ландшафт в центре Европы, вернее, открывала его, но мы от волнения не сразу заметили, решетка при входе во двор с вахтером-надзирателем. Словом, не лучше тюрьмы. И мы твердо решили здесь остаться...

Интересно, что ни в одну из двух имеющихся у нас голов даже не пришло спросить о двух отдельных комнатах, по комнате — на семью, мы просто не могли больше с теми, другими, со всеми вместе, и через пятнадцать минут вылетели от начальника этого человеческого зоопарка совершенно счастливые, заполучив огромный, как нам казалось, метров тридцать чердак, поделенный пополам двумя сломанными шкапами. Это был в нашем понимании настоящий дворец.

Я не знаю, что подумал о нас тогда этот симпатичный и доброжелательный комендант. Скорее всего что-то не совсем приличное, хотя здесь, очевидно, вполне привычное...

Нам же было, как вы понимаете, совсем не до группового секса...

ОТЧАЯННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
(Исполняется под гитару и без «Калашникова»...)

Господин Жириновский, ведите народ на рейхстаг:

Вас заждались евреи, имперскою милостыней сыты...
Всех их ордунгов лживых порядочней русский бардак
И пушистые наши домашние антисемиты...

Вот услышат и скажут: натюрлихь, агент КГБ...
Нет, противник и жертва, а все же – былинка России...
И, представьте себе, был поэт абсолютно в себе,
И не прочил себя ни в министры, ни просто в Мессии...

Не вожди, а дожди – мы идем сквозь пустыни столиц.
Серебристая речь на устах заскорузлых блистает.
Мертвецы петербургские с желтыми звездами лиц,
Нас по свету несет – нас во тьме беспросветной мотает...
Господин Жириновский, пока как рождественский гусь
Вы лоснитесь над водкой, из рук уплывает работа...
Вот бы ухарям вашим – да наши стихи наизусть!
(А в Отечестве горьком попробуй сыщи патриота...)

Я не то что бы Нестор, но, может, последний Катулл.
Говорю Вам: пора! В третий раз им пощады не будет!
Кто же в гости зовет – и несет электрический стул,
И считает чаинки в поставленной гостю посуде...

Я не верю глазам, выделяющим слезы в кино...
Кто законопослушен – послушен любому порядку.
Это было давно, а, мне кажется, вижу в окно:
Аккуратно побрившись, убийцы идут на зарядку...

Мне бы только успеть раздобыть для друзей самолет...
Фауст, бросьте парик, - их давно уж не носят на Невском...
Зонтик, доктор Энштейн, можно взять: там чудовищно льет
И чудесно – как Ницше с его хирургическим блеском...

Я вам все покажу, мы пропустим портвейна глоток,
Прогуляемся молча по дивному Летнему саду.
Жизнь – не теннисный мячик, а нити волшебной моток:
И встают мертвецы, и печально целуют ограду...

Господин Жириновский, ведите орду на Рейхстаг, -
Вы ж давно похвалялись, и парни не прочь поразмяться...

...Мне б отправить письмо, подписав – «Политический враг»,
Да боюсь, что друзья не успеют с анмельдунга сняться...
Кто ж в послушной стране им позволит с анмельдунга сняться,
Предложив беглецу – над своей головою – чердак...

...И случилось невероятное. Бережно, будто боясь расплескать, будто живую воду в ладошке ковшиком, несла я серебряно мерцающий (там, где еще не сожрала ржавчина) ключик от нашей, только нашей и ничьей больше комнаты. Тане же с Костином (мы еще не успели их усыновить, а они нас развратить) был вручен другой, точно такой же, так же сверкающий, и все мы сияли, как будто выиграли в лотерею по автомобилю... (Должна сказать, что на рекламных проспектах обладатели везучих билетов вовсе не выглядят одуревшими от счастья... Все они чем-то похожи на близких родственников строителей лотереи... Заметили, - как какая-нибудь ложь или пакость, так, всенепременно, родительный падеж, генитив? – Вот и там, дома, - я все еще думаю про «там» как про «дома» – «Известия советов депутатов трудящихся...»)

Верша литургию, творя давно забытый обряд, проворачивала я свой волшебный ключик в замочной, похожей на миниатюрный женский теневой силуэт, скважине, вот еще несколько последних пьянящих градусов и...

В глазах у меня потемнело... Но не от пережитого волнения, а от какой-то посторонней спины, внезапно выросшей между нами и нашей, только нашей и ничьей больше комнатой. Отодвинув нас несколько переспелым, но еще крепким, способным к борьбе торсом, как выяснилось позже, соседка слева, из Львова, втиснулась в образовавшуюся при открывании щель и встала в дверях.

— Ну, не больше, чем у меня,— удовлетворенно выдохнула она, измерив взглядом открывшиеся ей, а не нам, апартаменты, и наконец посторонилась...

Волшебство исчезло. Ибо оно всегда есть не что иное, как ощущение его невидимого присутствия...

Я поняла, что мы здесь не одни, что хайм уже начал наполняться всеми нами, евреями (поющие же и танцующие по ночам негры постепенно куда-то исчезали; над ними витало незнакомое мне слово "трансфер", я еще не летала в Россию через Будапешт и не знала, что это — транзит, но негры пели уже не так радостно, уже вроде бы плачуще, как евреи в знаменитом цыганском театре "Ромен"), и еще мне стало сразу же ясно, что ни от соседей, ни от тараканов не спасут даже крепостные стены: и те, и другие вскоре поползли, кто — в дверь, кто — под дверь, целыми семьями...

Тем более не могли защитить нас эти стены, фанерные, исписанные бранью наших предшественников на английском и югославском, весьма относительные стены, одна из которых, всегда влажная, примыкала к уборной, и вскоре я уже могла точно сказать по доносившимся оттуда увертюрам, а также по интенсивности и силе дерганья веревки над унитазом, кто посетил примыкающее помещение, — так люди, наделенные тонким музыкальным слухом, по первому содроганию клавиш узнают композитора...

Но внешние шумы, к которым я вынуждена, увы, по причине своей постыдной неодаренности относить и музыку, мне в общем-то не мешают. Потому что обращены не лично ко мне, а в космическое пространство...

Другое дело — соседи, которые почему-то воспринимают твою комнату как близлежащий «амт», призванный отвечать на интересующие их вопросы.

Они как будто не видят разделяющей нас стены, а если вдруг ненароком на нее натыкаются, то обижаются, что ушиблись... Нет, ей-богу, надо завести овчарку, тогда, может, на этих тринадцати метрах на троих станет свободней...

(В этом общежитии вопреки существующим правилам вольготно уютились и четвероногие эмигранты, что примиряло меня с присутствием их вечно грызущихся хозяев...)

Так, началось...

Соседка справа, разумеется, из вездесущих Черновиц (здесь и везде сначала я указываю расположение комнаты, а потом уже — родины, потому что меня, как вы понимаете, больше беспокоит первое обстоятельство, а в тех же Черновцах родился и поэт Пауль Целан, а не только баба Валя, как ее все называют, потому что иначе как-то и не назвать...). Так вот, баба Валя собственной, как говорится, персоной... Кулак еще требовательно бомбит дверь, а все остальное тело уже расплзлось по комнате и дышит у меня за спиной:

— Посмотри, какое я мясо достала, просто красавица!

И эта "красавица", которую тут совсем не надо доставать, добывать, выстаивать, что лишит в конце концов многих приехавших смысла их жизни, и они начнут вдруг чахнуть, вянуть, морщиться, а то и помирать не на шутку, эта "красавица" уже пласталась на моем новеньком учебнике немецкого языка, отвратительно мочась кровью...

Я думаю, что и в еврейской религии, как и во всех прочих, изначально был какой-то определенный смысл. Скажем, женщина в период менструации считалась «нечистой» и не должна была посещать синагогу. Правильно. Потому что памперсов тогда еще не изобрели, и священная скамья могла стать похожа на мой учебник... Где, между прочим, слово «die Periode» (после первой победы над Германией я уже начала осмеливаться выражать немецкие слова гриммовскими буквами) относится именно к этому пренеприятному явлению. Поэтому когда один мой знакомый произнесет в приличном немецком обществе (поначалу все немецкие общества кажутся приличными): «Ich habe eine gute Periode», имея в виду подъем своей жизненной активности, по тонким арийским губам проползет ядовитая усмешка...

Но до общества, даже не слишком обремененного условностями, еще далеко, man muß lernen... Пока что мой собеседник — подвыпивший хаузмастер. Интересно, что это ничем не примечательное слово, обозначающее ничем не примечательную должность: что-то вроде дворника, электрика и сантехника в одном лице, обрусело одним из первых, стало восприниматься как родное. (Не оттого ли и потекли потом наши «технари», в том числе и мой самый основательный из всего окружения друг, превосходящий по тонким линиям душевного чертежа даже Костика, еще не перебесившегося и порядком избалованного в академически-привольной семье, не потому ли и поустраивались один за другим именно в хаузмастера, что легко свыкались с эти домашним словом... А какой у них, собственно, был выбор: проектировать самолеты им бы здесь все равно никто не позволил, да и есть в этой работе, действительно, что-то притягательно-ностальгическое, если не в ней самой, то в ее аксессуарах...)

В нашу первую встречу хаузмастер выдал мне измочаленный веник с таким точно совком, какой подразумевают некоторые выметающиеся из страны Пушкина и Достоевского соотечественники, когда говорят о других своих соотечественниках; затем последовали три белые советскостоловские тарелки, на каждый рот — по одной, а также, в таком же комплекте, гнутые алюминиевые вилки и ложки, совсем не скользкие от жира, который почему-то все же казался, мерещился, клеился к их виду... На этом сервис был исчерпан, и я распилась за солдатские дерюжные одеяла, видимо, антикварные, потому в Германии сейчас таких днем с огнем не найдешь, даже на помойку выбрасывают обычно пуховые или яркие, в цветочках, собачках и кошечках, тоже своего рода синтетические "красавицы", которых у бабы Вали накопилось уже ровно 13... (Каждый вечер, ложась спать, она разрушала эту знаменитую на весь хайм башню и переносила сооружение со своих нар в угол комнаты, если позволяли собранные за день на улице мешки с одеждой. А если угол был уже занят до потолка, спала так, без удобств, по-походному.)

Тут мы должны на минутку отвлечься, потому что забыли бабу Валу у меня в гостях, а на самом деле она давно уже удалась с обиженно поджатыми губами, потому что на сей раз нанесла визит не только из-за мяса, но и по причине маленькой житейской просьбы, а именно: написать в синагогу и в правительство, что ее родственница, проживающая здесь же, по этому самому адресу, не была в гетто, хотя получила за это кругленькую сумму немецких марок... Такой некрасивый термин, как "донос", бабе Вале явно не понравился, и она отвалила во двор, где уже жаловалась на меня своей — той самой — родственнице.

Что, впрочем, не помешает ей скоро прийти опять, чтобы продемонстрировать (а то и подарить) новую — из тех же неиссякающих источников — кофточку.

Справедливости ради вынуждена добавить, что вина тут не столько ее и не столько всех остальных со-домцев (!), тоже считавших своим долгом “отметиться” у меня с каждой новой добычей, виновата была сама моя комната, вернее, ее расположение, по несчастливому стечению обстоятельств дверь наша находилась при входе в коридор с лестницы, в двух шагах от кухни (это была вторая стена), и мы всегда оказывались первыми, с кем хотелось морально поделиться “уловом”, а потом можно уж и на пищеблок с мешками одежды, креслами, телевизорами, потому что уж где-где, а там всегда кто-то есть...

Так вот, добродушный хаузмастер, а также спящий в будке вахтер и стали моими собеседниками, хотя, слушая их, трудно было не вспомнить анекдот, “Мань, а Мань?” “Ну, чего тебе?” “Мань, а Мань?..” “Уговорил, речистый...”

Эта дружба оказалась полезной и в другом отношении. Во-первых, я узнала, что, если бы вахтер не выбросил только что свой телевизор — и вправду, зачем ему три? — он бы его обязательно подарил мне, что, согласитесь, уже приятно.

А во-вторых, но давайте сначала уж я дорисую общую картину, открывающуюся тому, кто входит сюда впервые, как один американский фотокорреспондент, которого, говорят, выдворили с полицией...

Два дома в архитектурном стиле “барако” смотрели друг на друга в упор, разделенные всего несколькими метрами. Между ними деловито курсировала крыса, подметая длинным хвостом то, что не домел хаузмастер. Думаю, что это была та самая крыса, которая жила в непросыхающей душевой со сломанным крючком, этой крысы всегда стеснялся инженер из угловой комнаты, потому что она садилась на подоконник и наблюдала во все красные бусинки, как он моется. Один раз он, узнав меня по шагам, даже попросил позвать жену с полотенцем и прогнать извращенку... Словом, мне было почему-то приятнее думать, что никаких других крыс у нас не живет, хотя если бы вдруг на свет вышли все разом, я могла бы, наверно, эту и не узнать... Так вот, два дома жили, как сообщающиеся сосуды, одной жизнью, потому что общительным обитателям вскоре перестало хватать только ближайших соседей, и тут пора рассказать еще об одной стене нашей комнаты...

Это была главная стена, с окном, под которым гудела гармошка теплоцентрали. Да, да, пела на разные голоса и дышала жаром, очевидно, помогая августу, прогревающему воздух только до тридцати градусов. Чтобы не томить читателя дальше, а то он, того глядишь, и расплавится, поясняя, что здесь когда-то отломался регулятор, и впоследствии хаузмастер нам его установил (вот и пригодилось хорошее отношение), очевидно, сняв в другой комнате, у кого-то из новеньких. Так что по этому поводу — никаких претензий, в ноябре мы могли уже смело отключать отопление...

Вот только со стеной опять не повезло. Мое окно смотрело прямо в комнату дома напротив (занавески у хаузмастера кончились, а на помойку их как назло не “завезли”), и у меня перед глазами маячил идиот. Он был не злой, дружелюбный идиот, он бессмысленно улыбался утру, дню, вечеру и соответственно мне. Только оторвешь покрасневшие глаза от учебника — и упираешься в эту блуждающую улыбку... Однажды прошибло холодным потом: почудилось, будто смотрю не в окно, а в зеркало, и улыбаюсь...

Я бы почти с нежностью вспоминала об этом штутгартском хайме, как о последнем островке социализма, каких и в России-то уже, верно, не сыщешь, если бы не видела в нем памятника Немецко-го Отношения к Ненемцам...

Не случайно прижились здесь нары, вызывающие у меня совершенно определенные ассоциации.

В общем, уже через пару недель возвратился ко мне синдром стремительного закрывания глаз при пробуждении: а вдруг все это исчезнет, вдруг я окажусь в своей уютной ленинградской квартирке?.. (Двадцати лет от роду поняла, что никто никогда ни папе с мамой, ни, тем более, мне ничего не даст, что перенесут нас всех по очереди на кладбище прямо из нашей коммуналки, и, одолжив у родственников, кто сколько мог, вступила в первую затаенно-капиталистическую организацию в России, что-то вроде масонского клуба: жилищно-строительный кооператив; как раз накануне отъезда все взносы были выплачены, и теперь — кошке под хвост...)

Хорошо кошке... Вряд ли она охраняет вмятину от моего тела на ободранном её маникюром старом зеленом диване, скорее всего, уже облизывает благодарно чужие руки своим шершавым розовым язычком, который гуляет после очередного лакомства от уха до уха... Не зря же говорят «еврейское счастье» и «собачья жизнь», а о кошачьей национальности я ничего такого неутешительного не слыхала...

Кроме всего прочего, мне не хватало и этой лениво изгибающейся оранжевой синусоиды на столе, на бумагах или среди тарелок, всегда перед самым носом. Она знала, эта усатая мадонна, что ничего изящнее кошки на свете нет и быть не может, она даже зевала красиво, раскрывая свой львиный зев, как одноименный цветок, прямо в лицо выбранному ею же собеседнику... Кошку не берут на руки, это невежливо, она приходит сама...

Тщетно. Надо заставить себя встать. В окне, как и вчера, как уже два нескончаемых года подряд, — идиот...

У идиота были старенькие мама и папа, они называли его Васей, водили гулять за железную решетку, покупали лакомства. Вряд ли Вася отличал колбасу от банана, но он чувствовал, что его любят, и ему было хорошо...

Нехорошо было маме, диабетчице, живущей Васей и еще инсулином, от инъекции до инъекции, не имеющей ни сил, ни нахальства осаждать квартирное ведомство; она просто заполнила аккуратным почерком учительницы английского все нужные формуляры и терпеливо ждала, когда же подойдет ее очередь на социальную квартиру. Но жизнь показывала, что двух инвалидов удостоверений на семью из трех человек, видимо, недостаточно, наверно, те, что переселяются в квартиры, имеют шесть...

Ждала и парализованная переводчица с немецкого Вера, которую ежедневно вывозили в коляске во двор подышать примыкающей к забору фабрикой стекол и цементной пылью близлежащего комбината. Жили они втроем в одной четырехместной, чуть было не написала — палате, и все время боялись, что им еще кого-то подложат, то есть подселят.

У нас тоже накопился ворох медицинских бумаг, детский врач недвусмысленно предупреждал, что сыну смертельно опасно находиться в зоне детских инфекций (а инфекции густо порхали по двору на слюдяных крылышках жирных чугунных мух), и даже увенчал свою справку восклицательным знаком, чтобы обратить на нее внимание равнодушных к сути, но чутких к бюрократической пунктуации чиновничьих глаз...

Все мы сидели и ждали, с замиранием сердца подходя каждое утро к маленькому окошечку возле оградки, из которого нам, как в больнице кашу, выдавали свежую почту.

Ее вручение приобрело ритуальный характер, один серого цвета прямоугольничек (все уже знали, как он выглядит: в меру упитанный — листа на три, сложенных вдвое, длинный, с отчетливым штампом "Amt für Wohnungswesen" в левом углу) мог в одно мгновение нет, не изменить твою жизнь, её все еще не было, а вернуть тебя к ней, вырвав из томительного ожидания, которое жизнью назвать трудно...

Немцы, даже знакомые, квартир эмигрантам не сдавали. Это часто оговаривалось прямо в газетных объявлениях, что меня удивляло, особенно после поездки в Америку: там бы такая информация выглядела как неприкрытый (и наказуемый государством) расизм.

Люди сгребали свои письма, подозрительно косились друг на друга, пытаясь заглянуть получающему через плечо; выдавая желаемое или показавшееся за действительное, распускали слухи, ссорились, кричали, иногда дрались сковородками, словом, это были уже не совсем люди, но только ли они сами в этом виновны?..

А немецкий "ordnung" все же начал тем временем функционировать, только срабатывал он каким-то странным способом, что приводило двор в еще большую нервозность...

Первой покинула хайм семья крепкая, ладная, боевая, глава которой, жена, заведовала в своей предыдущей жизни ювелирным магазином. Злые языки поговаривали, что часть червонного черновицкого золота перекочевала на пальцы чиновниц, но если даже это было и так, то вряд ли добавило им обаяния...

Автор же должен одинаково любить всех своих героев, в том числе и прозванного во дворе "паном спортсменом" здоровяка с арбузными бицепсами, месяц назад вдруг выгрузившего из автобуса с Украины новую жену, через неделю наставившего ей лиловых слив под глаза (утром они окончательно созрели, и дама немножко комплексовала), а еще через две недели радостно покупавшего для нее и для новой социальной квартиры бесподобное, по словам бабы Вали, турецкое трюмо, все в гипсовых ангелочках.

А идиот ждал... Ну что ж, на то он и идиот...

То есть все это было бы понятно, если бы социальные квартиры не предназначались изначально для старых и хворых. В таком случае было бы все совершенно логично: кто умеет устраиваться — тот и на службу при любой безработице проползет, вломится, просочится и, значит, станет полезным членом общества. А кому же еще должно государство помогать, если не своему активному члену?

И ведь тоже логика, и, признайтесь, знакомая: слабых — в пучину; сбрасывать как никчемный балласт с корабля...

Не зря же, например, преподавателям социалистической экономики министерство немецкого просвещения подтверждает дипломы и научные звания. И правильно: их можно быстренько переддресировать и переадресовать на капиталистическую экономику, в которой все так же, хотя и почему-то наоборот. А, например, недовольного ГУЛАГом диссидента не переучишь, он и здесь будет чем-нибудь недоволен, еще и воду мутить начнет. А кому это и здесь, спрашивается, нужно?..

Скажу вам по секрету, что, весьма вероятно, и там, где мы все рано или поздно встретимся, первыми получат все, что полагается для загробной жизни, те же самые люди...

Потому что и у Господа Бога могут быть свои "амты", которые докладывают ему, что все живут в раю и славят денно и нощно его самого и его мудрую политику.

...Нет, надо было все-таки попытаться застрять в Лондоне...

Я вспоминаю Тауэрский замок,
где ворон, переваливаясь, брел:
полуиндюк — полуорел...
И мудрый — в отдалении от самок...

Мне есть что вспомнить — можно уходить,
забрав с собой нехитрые пожитки:
под веками — две дымчатых открытки,
Нева и Сена, сросшиеся в нить...

А то, что не охотилась на льва —
так это мне и Бог не разрешает;
и умереть нисколько не мешает...
Да и своя дороже голова...

А то, что рикшу брать не довелось,
и вдоль стены китайской не гуляла, —
переживем...

Там тоже есть немало,

что поглядеть...

Что в Этой – не сбылось...

Нельзя сказать, что вокруг вообще ничего не происходило, что жизнь как бы остолбенела, обретя форму камня, поставленного на камень, неотесанного — на мраморный пьедестал с металлической надписью "Ожидание Ангелота5"... Для современной скульптуры это было бы, смею добавить, слишком мотивированно, почти старомодно, что-то вроде пережитков дедушки Пикассо...

Муж, отдать ему должное, встрепенулся первым и затормозил меня, радостно узнавая на стенах слово "Kultur" и требуя перевода, что же там, в афише, дальше написано. Я медленно наливалась раздражением еще и по этому поводу, так как терпеть не могу разговоров о духовности, по которой так любят тосковать демагоги и дилетанты; по мне — так лучше полное отсутствие картин и спектаклей, чем их досужая провинциальная имитация. Сидеть вечером в абсолютно бездуховной кнайпе, тянуть свое остужающее мозг, янтарное на просвет пиво и наблюдать из притемненного уголка других посетителей — не больше ли в этом искусства, чем вежливо аплодировать деревенской художественной самодеятельности, оседлавшей театральную сцену и орущей до посинения при свете рампы? Другое дело, что нам, эстетам и снобам, слышащим даже самую тонкую, даже почти виртуозную, звенящую скрипичным комариком фальшь, свойственно впадать на этой далеко не идеальной земле в сонную меланхолию, а нашим менее требовательным и оттого более жизнеспособным партнерам — вытаскивать, выволакивать нас за волосы из хандры, в которой так сладко пребывать, будто в детстве сосешь пораненный пальчик с набухшей на нем клюквинкой крови... В общем, благодаря или по вине (вопрос остается открытым) мужниной общительности, прямо-таки феноменальной, если принять в расчет полную неусваиваемость его организмом иностранного языка, у нас образовались некоторые знакомства, которые теперь приходилось расхлебывать.

Так однажды нас пригласили на выставку, совмещенную с концертом, в одно солидное культурное учреждение, расположенное на голубой высоте разреженного воздуха.

Характерно, что искусства здесь почему-то всегда совмещаются друг с другом, как в наших "хрущобах" совмещались ванна с уборной, превращая и то, и другое в нечто не совсем полноценное. Несмотря на свою неизнеженность и спартанское самовоспитание (в юности, прочтя Чернышевского, целую неделю спала на гвоздях, как Рахметов), я все-таки не могла наслаждаться розовыми переливами шампуниевой пены (подарок соседки по лестничной клетке, уважаемый была человек, всю жизнь в торговле, три года в тюрьме) в непосредственной близости от вазы, предназначенной для фекалий. Хотя и, располагаясь в ней вальяжно, как в вольтеровском кресле, сочинила не одну книжку на крышке стиральной машины "Сибирь", используемой мною в качестве письменного стола. (А что, посоветуйте, было делать, если родители, извините, но так уж выходит — и это страшно, в этом обыденный ужас нашей тамошней жизни — еще не умерли, а сын уже народился, и получилось нас в однокомнатной кооперативной сразу пятеро, не считая любимой всеми собачки.) Поэтому три с половиной квадратных метра этого немаловажного помещения, когда они не были заняты по хозяйственной или другой нужде, стали в семье совершенно официально считаться моим рабочим кабинетом: домочадцы виновато стучались, если должны были помешать... Очевидно, богатая фантазия дорисовывала мне зеленое поле сукна над нашей "стиралкой" и медную, напоминающую блестящей выпуклой крышечкой купол Исаакиевского собора, чернильницу, виденную в музее-квартире угнетенного царизмом писателя; а что еще нужно для медитации?..

Но там все это было от бедности, от безнадёжной скудости нашего быта. А здесь ничто не вынуждает поэта выставлять перед литературной гостиней суперреалистический, оттопыренный, как коллаж, портрет своего полового органа, кукарекать под флейту или брэнчать голышом на фортепиано. Просто он ни то, ни другое, ни третье не научился делать мало-мальски профессионально — вот и завлекает публику на этот сомнительного качества винегрет, ссылаясь при случае на ее же странные вкусы...

Публика, она, разумеется, дура, но все-таки не такая, как ублажающие ее мальчики. Тем более, что нет в германских гарсонах тонкого полунамека милой фривольности, а только одна громко кричащая вульгарность или неприкрытая солдатская грубость. Нет, шалишь, а публику, даже местную, уныло провинциальную, одним пенисом на культурное мероприятие не завлечь, она его, голубчика, 24 часа в сутки по всем пятидесяти телевизионным каналам видит, притом не отрываясь от ласкового, плюшевого, глубокого, как обморок, кресла...

...Вот разве что калачом поманить... У меня возникло странное подозрение, что уж не этот ли слегка поддурманенный калач, по-здешнему — брецель, а также бокал дареного вина и гарантируют успех поэту или художнику. Иначе с чего бы тащился усталый немецкий бюргер в другой конец разбросанного — белыми щепотками по холмам — города на какую-нибудь выставку, где на стене висят, как бригада самоубийц, пять-шесть, извините, даже не картинок, а картонок, по которым густо размазан кetchup художественного воображения автора. А вот и он сам, застенчиво улыбающийся и немножко надменный, и все чокаются с ним и друг с другом, и сейчас скажут, что все было чудесно, и, чокнутые, с трещинками улыбок на сияющих лицах, побредут по домам...

Такое иногда ощущение, что немецкое общество дружно впадает в детство. Бегут, играя в догонялки, двадцатилетние, длинные, как размотанные спагетти, юнцы (итальянская кухня здесь более популярна, чем Рафаэль, и вообще самые раскупаемые книги — всё же поваренные), резвятся в открытом бассейне, брызгая друг в друга из водяных пистолетиков и громко радуясь, если попали. И, видимо, именно они должны всегда стоять, вернее, бежать перед лицом творящего, потому что завтра они выйдут на пенсию — и станут публикой.

Зато здесь ни один Гайдар в 15 лет полком не командовал, и вообще всё, что может причинить людям неудобство и вред, например, революцию, они экспортировали к нам...

Так вот, возвращаясь обратно в то солидное культурное учреждение, на выставку, совмещенную с концертом (вечно меня заносит не туда, куда надо, и выходит в итоге какая-то расхристанно-колючая дикорастущая эссеистика-

памфлетистика вместо аккуратно оболваненной парковой повести; ну ничего, редакторы в наших издательствах еще, будем надеяться, не перевелись), и что же мы там, на выставке, торжественно принаряженные (муж — при “краватте”, а я — при броши), имеем честь лицезреть?

Пока еще ничего, кроме толпы других приглашенных и, разумеется, брецелей. Ну откуда мне было знать, с моим всего-навсего годовалым тогда европейским стажем любительницы искусства, что наваленные в углу кирпичи с ветошью и цементом — не грязь, оставшаяся после ремонта, которую просто не успели убрать, а что это и есть то самое главное произведение искусства, из-за которого весь этот симпозиум-консилиум и собрался.

А тут еще с потолка каплет, методично и взвизгивая, будто допотопная бормашина в зубоврачебном кабинете. Ну, совершенно не приспособленное помещение, не зря говорят, что экономит правительство на культуре. (А культура, как утверждает мой муж,— это будущее всего человечества.)

Вот тут меня и угораздило спросить у радушного директора учреждения, который всех лично обошел со своим бокалом, и нас, к сожалению, тоже, где же все-таки будут выставка и концерт, потому что в этом помещении ждать как-то неуютно...

Нет, положительно ничего, кроме неприятностей, мне мой довольно быстро распускавшийся (как цветок на естественно удобряемой почве) немецкий язык не приносил. Единственное, что я могу сказать в свое оправдание, что не получила никакого музыкального образования, и по консервативности своей привыкла считать, что музыка — это когда стонут, рыдают все органые позвонки в стройном теле собора или уж на худой конец если водит кто-то по струнам одинокой веточкой, а у тебя в глазах влажные сады польхают...

Словом, больше нас туда, сами понимаете, не приглашали, а концерт “Wassermusik” — водяная музыка (могла бы и догадаться) — минут через десять иссяк.

Помните анекдот про милиционера, чье донесение заканчивалось так: “...И даже на пороге в отделение милиции гражданин Г. продолжал нарушать постановление от восьмого восьмого сорок восьмого года,— имелся в виду закон, запрещающий гражданам испражняться на улице,— и только перед кабинетом начальника отделения перестал нарушать постановление от восьмого восьмого сорок восьмого года, и то не потому, что осознал, а потому, что иссякся. И потому прошу выдать мне новую гимнастерку и сапоги”.

Надо бы мне из Ленинграда, из нашей забытой “Готтом” котельной, ржавый кран захватить: тут бы им в одном предмете и эротическая скульптура, и целая филармония...

Провинция, ты рай для Хлестакова,
Веселого, хвастливого такого,
Он даже обаянья не лишен
В провинции, лишенной обаянья...
Всё кстати: и подцепленные зданья,
И скользкий, на закуску, корнишон.

Я думаю, что Гоголь от героя
В восторге не был, но ему порою
Благоволил, подначивал, -чеши! –
Они давно заждались ревизора...
А ты, мой друг, не сбрендишь от позора –
Я не вложил стыдящейся души...

И Пушкин, подсказавший эту тему,
Злорадствовал: примите хризантему,
Мадамы, недостойные любви
Смущенного российского пиита,
Кто знал, чем зажигаются ланита...
Но... ум и злость! И честь, ее язви...

И я в своей неметчине унылой
Все не могу собраться с новой силой,
Да и зачем – ведь сказано уже...
Все, как всегда, на этой тверди зыбкой...
Перечитаю Гоголя с улыбкой –
И жизнь светла, и ясно на душе.

Поглубже втянем дым – и приглядимся:
Благоухают наши проходимцы.
По вей земле в салонах дураков.
И в глубине гогочущих провинций
Кончают век российские провидцы,
Лелея боль от сорванных оков...

Оглядываясь на того грустного советского милиционера, нельзя не отметить (с чувством глубокого, если даже еще не полного удовлетворения), что проблем с обмундированием здесь, в Германии, нет.

По-человечески жаль и его, и себя самих — там, в том далеке, где зимнее пальто не покупали, а “строили”, а чулок штопали до тех пор, пока это уже становился не чулок, а сплошная художественная штопка, затвердевшая, как гобелен, и натирающая до боли и красноты истоптанную за день, долго еще пылающую под приятным холодком простыни пятку. Но к биологическим мучениям я лично, так же, как романтики всех времен и народов, относилась стоически, можно даже сказать, что я их просто не замечала. И никаких комплексов по такому ничтожному поводу, как тряпки, в моем упоительном, я имею в виду духовно упоительном, окружении не было. Это в чопорном Берлине Марина Ивановна шокировала салонную публику своим, мягко говоря, не очень респектабельным ватником, а в России, в моей России, людям всегда смотрели в глаза, а не в значок фирмы на заднице.

Тем не менее я вдруг мимоходом, неожиданно для себя с облегчением отметила, что могу уже не стирать дважды в неделю в хаймовской прачечной, где всегда сидят местные кумушки и норовят со своей круглосуточной лавки втянуть стиральщиц в беседу, а вот это для меня действительно было мучительно. Одежды же набрался как-то сам собой целый сломанный шкаф... Обратите внимание на парадокс, заключенный не только во фразе, но и в своеобразии всей нашей новой жизни: она была похожа на сломанный шкаф, из которого торчали яркие ненужные тряпки.

Во-первых, здесь всегда можно было наведаться в кладовую “Красного креста”, где две, так сказать, крестовые дамы, похожие друг на друга, как две загогулины одной свастики, видимо, сестры, скрипя зубами по поводу зачавших русских: “Пришли, победители, побираться...” (в другой стране “жидовские морды” стали как бы “русскими мордами”, заполнив ту же нишу народного недовольства), все же предлагали нам кое-что из сразу послевоенных штанов и ботинок, залежавшееся на складе. Понятно, что те, кому не нравились туалеты или смысл приветствия, могли повернуться и больше не спотыкаться об этот порог. Но не тут-то было... От холявы господ советские эмигранты так легко не отказываются, даже если их с ног до головы оплевать; что-то все-таки достанется, тем — заодно — и вытрутса... Зато если уж кто из русских, то есть евреев, “возникал” (а евреи не “возникать” не могут, за это их все и не любят, и автор тоже), что, мол, турки целыми кагалами без очереди прут и мешками лучшую одежду уносят, ежели кто совал свой длинный нос куда не следует, его быстренько отправляли домой: и не только в хайм, а непосредственно туда, откуда приехал.

И даже, наверное, правильно делали, потому что в открывшемся позже продуктовом магазине, где всех неимущих — без национальной или какой-либо иной дискриминации — встречали по-королевски, благодаря каждого за покупку (арбуз — 1 марка, яблоко — 10 пфеннигов плюс улыбка и благодарность), именно этот настырный народ, почувствовав слабину, начал воевать за “улучшение снабжения” и “культурное обслуживание потребителя”. (Куда уж культурней — разве еще только приседать в книксене и целовать покупателей в щечки при входе и выходе, если бы это не было так противно.)

Потому что советский еврей просто так, сложа руки, сидеть не может. Он или связан по рукам и ногам, что, несомненно, как-то ущемляет его права, или переделывает мир в обозримом для него радиусе.

Пожалуй, большой, воистину революционный размах выказала баба Валя, которая ничем не возмущалась, наоборот, всем восхищалась и попросту “экспроприировала экспроприаторов”, опережая машины “Красного креста” и самовольно собирая мешки с одеждой прямо на улице, куда их заблаговременно выставляли дисциплинированные жители города.

Она каждый день меняла наряды, сочетая мальчишковые футболки с килограммовыми, сумасшедше блестящими клипсами, и была по-своему счастлива, только иногда, в свободное от этой благородной “охоты” время, вспоминая, каким “большим человеком” был ее покойный супруг в обкоме партии...

Каюсь, один раз (ведь и в тюрьме иногда просыпается желание пошутить, ведь еще все-таки не могла) я похвалила ее “шабат-туалет”, выбранный ею (разумеется, из мешка) для посещения службы в синагоге. Футболка была — “Посмотри, какая прелесть и даже не ношенная...” — просторная, черная, а на ней ярко, оглушая глаза красками, один серебристый мышь дрючил свою распластанную по ткани ушастую подругу, оттянув ей алые, в ослепительный белый горшок, трусики.

Вернулась баба Валя с торжественной литургии вся черная (не иначе как раввин высказал ей свое, отличное от нашего с ней мнение), мрачная, как футболка с изнанки, и еще несколько дней мне посчастливилось прожить без демонстрации мод.

Что же касается шпермюлей — организованного городского выкидыша ненужных вещей, то здесь понемногу, ну хоть по капельке, хоть по одному разуку грешны все, и вчерашние академики, и даже сам брезгливо брюзжащий автор, уже потому хотя бы, что это было загадочно и непредсказуемо: что же выбрасывают здесь люди из своей жизни?... Увы, не только сломанные или даже еще “тянущие” пылесосы и надоевшую мебель. Из-под проливного дождя я спасла, согрев за пазухой, совсем уже даже без кавычек расклеившегося Генриха Гейне, приютила “Доктора Живаго” на немецком, а однажды споткнулась о целую библиотечку новых романов. (Впрочем, бегло пролистав их дома, поняла, что на сей раз все было сделано правильно, туда им и дорога.)

Должна честно сказать, что жизнь эмигранта (если, конечно, урчащее, постоянно облизывающееся, как моя кошка, существование можно назвать жизнью, но критерии ведь падают не только в искусстве), переселенца, начинающего ее — в экономическом смысле — с нуля, была бы и вовсе сказкой, если бы выполнялись все замечательно писанные законы. Только вот для кого они писаны? Наверно, для тех же маленьких людей, над которыми смеялись когда-то в блоковских “желтых окнах” и которые все еще трудятся с утра до вечера на больших предприятиях. (Потому их, этих людей, и не видно, можно даже подумать, что их в Германии нет.) Что же касается законов этических, то они, видимо, хранятся здесь в запасниках библиотек, как у нас прятались от нас (не сами,

конечно) потрясающие студентов (и, что самое ужасное, основы общества) немецкие философы. Такое впечатление, что абсолютное большинство немцев понятия не имеет о том, "что такое хорошо и что такое плохо". (Может, от них это скрывают из соображений гуманизма: чтобы не узнали и не пустили все разом себе пулю в лоб, как Маяковский.) В результате моего, чисто любительского, правда, исследования, выявилась только одна закономерность, совпадающая, как и следовало ожидать, с правилами немецкой грамматики и выраженная моральной формулой "Das ist gut für mich". Что означает: "Это хорошо для меня", — а подразумевается, стало быть, что, значит, и вообще "хорошо"...

Не оттого ли и убивали они так запросто, так спокойно, и мочились не то что тихий «гражданин Г» - на тротуар, а на янтарные паркетные наших святынь, содрогая воздушные, нежные своды барокко скабрёзной бранью и артиллерийским громовым хохотом, не потому ли, что для них это было тогда «гут»?...

Признаться, мне часто не по себе в стране того самого индивидуализма, который я воспевала в России, где все должны были быть «как один»... Иной раз – просто мороз по коже от их косматых рефлексов, от эгоизма, злобы и зависти. Будто видишь сквозь ткань, как удаляется, вспыхнув, багровый от ярости зад примата...

Но это уж другой разговор, требующий отдельного, благородных древесных кровей, письменного стола, который у меня появится позже, когда нам обоим, и мне, и ему, столу, будет, где встать...

И посему, мой читатель, не раздражайся на вряд ли интересующие тебя подробности эмигрантского быта, не сердись на бесцеремонно появляющихся и долго не уходящих героев; тебе все же не придется терпеть все это целых три года. А если уже невмоготу, если подступает к горлу тошнотворный комок, но если ты при этом все-таки нет-нет, а вздохнешь, куда же, мол, подевался поэт и философ, я могу дать тебе все тот же штутгартский адрес...

Там, правда, никто не знает моего настоящего имени, но оно и к лучшему.

Спросишь тетку из 435-й...

чужая речь как птичий щебет
твоих ушей коснется ишь
не заползет в глухие щели
где сокровенное таишь
маршрутный лист над головами
меланхолически читай
и ежедневный путь в трамвае
един, - Париж или Китай...

везде покачивает сумрак
и содрогает поворот
носильщиц грез и тяжких сумок
что называются – народ...
кивают вяло подбородки
поток встречной чепухи...
Где итальянские красотки?
Где елисейские духи?
Ты все придумал, Боттичелли!
Ты обманул меня, Вийон!
Мир – деревянные качели:
сабвей – убан – метро – вагон...
И я сама – не гость высокий –
сiju тихохонько в углу
дрожащей жилкою височной
припав к прохладному стеклу
и пребываю за границей
хотя считается – живу...
А пятки – чуть смежишь ресницы –
Летят, как яблоки, в траву...

...Но что проку с того, что нас с детства учили только хорошему, например, никогда не брать чужого, что вору в дикое (но отнюдь не с этической точки зрения) времена даже отрубили руку?..

Однажды к хайму вдруг подъехал полицейский автомобиль...

Кумушки зашушукались, шлепанцы зашуршали, жители высыпали под разными предлогами во двор. (Самое печальное, что и мужчины тоже. Если мужчина проявляет дворовое любопытство, то это уже несомненная деградация.)

И тут одна, не хочу акцентировать, но опять-таки черновицкая бабенция стала в один час своего рода знаменитостью того самого тихого городка, с которого мы много страниц назад начали сие малоподвижное путешествие, а сейчас снова вернемся туда, потому что эта не совсем красивая, как вы уже догадались, история произошла именно там...

Помните дешевый магазин "Альди", где нас нещадно обсчитывали? (Я уже, по счастью, забыла, но не обо мне

сейчас речь.) Видимо, кассирше не нравилось, когда обманывает не она, а ее (так почему-то всегда бывает в жизни), и потому она схватила бабу за сумку, в которой ярко синели не предъявленные к оплате джинсы. Бабка захлопала, но ничего, кроме уже упомянутого товара и названия улицы проживания, расположенной через три долгих аллеи от магазина, вытрясти из нее не удалось.

К оправданию любопытных на этот раз надо добавить, что её во дворе знали все, причем, знали не столько в лицо, сколько в ноги, хотя никто, даже Костик, старым бабкам в ноги не смотрит: ну что там увидишь, кроме корявых пальцев и вздувшихся вен?.. Но эти ноги сами, можно сказать, бросались в глаза своим ярким, малиновым, светофорным — поверх грязи — педикюром...

На сей раз все вынуждены были обратить внимание на её глаза, из которых лились неостановимые слезы. Она неуверенно спускалась на землю из машины, бережно поддерживаемая под руки двумя юными полицейскими...

А потом вызванный для ведения дипломатических переговоров, знающий с детства, хоть и понемногу, пять языков, как бы исполняющий обязанности дворового рабби почтенный дед Исаак, глядя в землю и пылая лицом пуще ее ногтей, переводил стражам закона весьма странную версию.

Бабка клялась и божилась, что джинсов не крада, а просто взяла домой, чтобы ее дед Иван примерил, и, если не подойдут, принести обратно...

Каюсь, я была неправа, заявив, что немцы не уважают старость. Мальчики в темно-зеленых форменных куртках, все внимательно выслушав, принесли ей свои извинения за оскорбление подозрением и укатили.

А уж что ей сказал старый Исаак, когда они скрылись из зоны слышимости, вы можете себе представить, потому что русским он тоже владел с детства...

...Я все время забываю признаться, что в моей угрюмой и даже зловещей памяти есть один довольно-таки веселенький закоулочек, где откладывается — всегда на потом — смешное, забавное, наверное, на еще более черный день в жизни... И эта вот смехотворная запасливость и всегдашняя готовность к последующим, непременно последующим неприятностям, не менее подтверждают мою национальную принадлежность, чем затребованные синагогой метрики.

Вот и сейчас, спустя несколько лет, я вдруг вспоминаю, как здесь же, в Эсслингене (пора назвать городок, с которым столько связано и о котором столько сказано, и в котором мы благодаря бабе Липе, назовем ее так, опять очутились), зачитывали мы на том самом чердаке (читатель мог его уже и забыть, но обитатель — никогда в жизни) вслух письмо Таниной мамы из Ленинграда. Зачитывала, понятно, сама Таня, а мы с Костилом заслушивали и буквально валились на нары от смеха, потому что мама волновалась, не скучает ли девочка без рояля и спрашивала, не попытаться ли его сюда — по железной дороге — доставить... Именно рояля нам всем тут и не хватало, разве что воздвигнуть его во дворе и созывать весь хайм на утреннюю зарядку...

Или та замечательная история, когда Костик впервые поехал в Мюнхен, собрав паспорта у всех желающих встать в русское консульство на учет. (Вопрос этот имел принципиальный характер, многие мечтали о немецком гражданстве, а кое-кто не представлял себя без России, какою бы она ни была.) Спросив у первых же попавшихся навстречу пацанов про нужную улицу, которая оказалась недалеко от вокзала, а значит, в криминогенной зоне, он нечаянно забрел в темный привокзальный туннель и угодил в облаву на наркоманов. Длинный, в джинсовых с пижонской бахромой шортиках, озирающийся по сторонам круглыми кроличьими глазами, русский парень показался полиции подозрительным. В общем, лицом к стене, руки назад, за спину! При обыске в его рюкзаке вместо ожидаемого какого-либо опиума для народа была обнаружена другая крамола, стопочка чужих паспортов, перетянутая советской аптечной резиночкой, которые он, путаясь в незнакомых словах, комментировал более чем странно: "Да, это я... А это моя жена... А это кто? Это тоже из Ленинграда, мы живем вместе... Да, все вместе... И ее муж тоже... И те трое..."

(Значит не только нам самим, но и немецкой полиции было непонятно, как это столько людей могут жить вместе...)

Или еще одна встающая перед глазами трогательная сцена. Место действия — все тот же хайм. Действующие лица: та самая, уже оправившаяся от испуга и, будем надеяться, исправившаяся бабушка Липа и ее муж, которому не подошли джинсы. Сейчас они сидят в комнате отдыха от отдыха (отдыха в помещении после отдыха на природе) и, образно говоря, бачут коммунальный фернзеер (здесь и везде я не перевожу понятные каждому еврейю слова).

И тут он нежно наклоняется к своей, как всегда, нещадно размалеванной турецкой косметикой половине, и произносит следующую, ставшую крылатой фразу:

— Мы с тобой уже старенькие, все может случиться... Если кто-то из нас умрет, я уеду в Америку...

Вот что такое не придуманный литературный, а живой натуральный еврейский юмор...

Забегая опять далеко вперед, скажу, что уехал он вскоре не в Америку, а последовал за своей старухой на местное, пока еще не большое еврейское кладбище. Небольшое, потому что своей смертью евреи в Германии начали умирать не так уж и давно, так что до нашего приезда никакого столпотворения покойников здесь не наблюдалось. Но где возникаем мы, там почему-то всегда возникают и очереди. И главное, каждый обязательно хочет влезть раньше других.

Это еврейское качество известно всем, и в первую очередь самим евреям. Потому по такому жизненно важному вопросу было незамедлительно принято решение еврейской общины. Я своими глазами читала в протоколе правления: "...обсуждали два вопроса:

1) быстрая адаптация эмигрантов из бывшего СССР и 2) расширение общинного кладбища. (Принято единогласно.)"

Ну да что к словам придирается... Не будем педантами, хотя мы и в Германии... Надо еще спасибо сказать, что хоть похоронят, а не выбросят в мусорный бачок, как это делают иногда на нашей бесслезной Родине... И не по

злобе, а по отчаянной бедности. Я бы, может, сама наказала сыну так со мной поступить, если бы знала, что мой окаянный ящик лишит его и его ребенка куска хлеба... В общем, я не возражаю против этого кладбища, хотя наши Пулковские высоты, откуда папа город для меня защищал и где теперь лежит, опять в тесноте, в одной узкой траншее с мамой, мне чем-то роднее...

Но умирать я пока все равно не имею никакого римского права: нужно еще получить квартиру в Штутгарте или хотя бы Нобелевскую премию мира за эти воинственные записки. (Если уж Арафат, похожий на всех 40 разбойников из «Али-Бабы» получил, то мне и сам Бог велел.)

Да и продолжительность жизни здесь, в Германии, воистину фантастическая: по телевизору до сих пор выступают розовенькие, как ангелочки, очаровательные старички из гитлеровской обслуги и, доверительно улыбаясь, рассказывают всем нам, какой фюрер был, в сущности, добрый малый, как любил их всех и даже свою собачку... Получается, что так же, как мы — нашу, когда ее еще не отловила “живодерка” с синим крестом и когда папа еще не упал, весь в орденских планках, на пол, с пеной у рта...

Кладбищенский Ангел мне дверь отворил,
Велел подождать за оградой...
Родители вышли, касаясь перил
невидимых, вея прохладой...
Дыханье — как взрыв у высоких ворот
в незримом присутствии Лица...
Ну что вам сказать? Продолжается род,
И нежно цветет земляника...
И совестно вымолвить что-то еще
На этом наречии бедном...
И сходит заря, как румянец, со щек,
И небо становится бледным...
И с места не сдвинуться, будто нога
вросла... Онемевшие чресла...
И женщина в черном торопит, строга...
А женщина в белом исчезла...

...Счастливым все-таки писатель был Сергей Довлатов... Никогда не обременял себя ни мучительными раскопками прошлого, ни закрученными спиралью прострелами в будущее; два-три острых штриха к портрету, живой, выпуклый диалог, согретый иронией,— и готово! И всё это при всём при том — чистой воды Литература.

Когда-то брели мы с ним по Чугунной, окраинной ленинградской улице, что на Выборгской стороне, по заросшим лягушачьей зеленью ржавым рельсам — два разных состава, оказавшихся рядом на запасных путях русской литературы, и он мечтательно шурился на неделимое чистое небо. “Хочу,— говорил,— быть капелькой в мировой культуре, хочу в ней раствориться...”

Желание его исполнилось, и, к счастью, не полностью: довлатовская капелька не растворилась — она поблескивает, как маленькая жемчужинка, по-немецки — “Die Perle”, “перлы” его героев цитируют даже здесь, хотя они трудно поддаются обработке твердыми германскими буквами. Теряется живое тепло согретых за пазухой строк...

А мне почему-то обязательно надо вникнуть, найти первопричинность причинности ни с того ни с сего случившегося или случиться могущего, в разлохмаченной кроне моей шелестят, перешептываясь, разноцветные ассоциации. А уж что касается стиля...

Подлежащее и сказуемое разделены, как шекспировские влюбленные, многочисленными Монтеки и Капулетти, вздорными и противоречащими друг другу членами сложносочиненного и подчиненного минутному чувственному капризу предложения. Целые страницы запутываются в тропях, как парашютист в стропах, пока наконец не приземлишься сломя голову...

В таких случаях лучше всего продезинфицировать организм баллончиком пива и наложить на воспаленные глаза примочки из “Улисса”, а потом медленно, с блаженной улыбкой перейти в то плывущее состояние, которое так помогало еще на родине при острых приступах самоедства.

Утешительная мысль нашептывает, как Арина Родионовна, что утро вечера мудренее. Не мудренее, а именно мудренее. (Что могут сделать две точки над одной буквой, один умляут, если не ты владеешь языком, а он — тобой. Поэтому я навсегда останусь русским поэтом, а заслуженный в любовной борьбе с немецкой грамматикой членский билет Союза писателей Германии кажется мне не более чем приятным сувениром.)

Эта ласковая, добренькая старушка — мысль, вынырнувшая столько упрямец и гордецов, укачивает мое сознание на знакомый мотив: случаются, мол, писатели и позаковыристей, и подиковинней, а есть и попроще, бывают и вовсе простецкие, четкие, как забор; а ты, голуба, главное, ни на кого не смотри, только уж ежели совсем занеможется — на дно своей пивной кружки...

Сказала — и приутихла у окна, вяжет поблескивающими спицами чулочек для Александра Сергеевича, или это детский велосипед по комнате ездит?..

В голове, как на диске “с”, набито столько относящейся к прошлому информации, что она выскакивает перед глазами в самых причудливых комбинациях...

Все-таки правильно, что уехали. Вот и компьютер персональный уже имеется, потому что сегодня печатать на машинке — все равно что воду из колодца таскать вместо того, чтобы просто повернуть ручку никелированного

крана...

А когда ребенок родился, не то что компьютеров не было, не только за колготками в Ригу потом ездить пришлось — марганцовка, и та вдруг пропала, младенца хоть водкой подмывай...

Нет, всё-таки правильно, что уехали, невзирая на то, что стучат теперь кони Клодта копытами по виску, изнутри бьют, как будто у меня в голове не Валлопиев мост, а декабрьский Аничков скобкой мерцает. И отражаются огоньки набережной в чернильной тьме засыпания, как елочная гирлянда послевоенного детства...

На елку мы вешали бутерброды с любительской колбасой (веселое конфетти белых жиринок), покрашенные в серебрянку орехи и еще мандарины. Как они тогда пахли... Даже сейчас, спустя столько запутавшихся серпантинном лет, этот волнующий запах зимы — и праздника, праздника — и зимы, просачиваясь сквозь тяжелый и серый, как ветошь, прокуренный воздух, щекочет волнующе ноздри...

А сын уже не так подвержен воспоминаниям, хотя зато и простудам тоже. У него вырабатывается иммунитет.

Боюсь, что его дети будут цеплять к потрясенным рождественским веткам действующие модели видеомagneтофонов, компьютеров, родителей.

Или у них вовсе не будет елки, потому что все леса к тому времени уйдут на рекламные проспекты, и к тому же от елки много мусора. Разве что синтетическое чучело под каким-нибудь сентиментальным названием, что-то вроде «Nostalgischer Tannenbaum» oder „Omas Schmuckstück“; как всё здесь...

Мандарины зимой удивительно пахнут
С первой елки твоей – до последней одышки...
Вот лежишь – и зрачок ожиданьем распахнут,
И щека согревает ладошки-ледышки...
Потому что на вкрадчивых ёлочных лапах,
Расщепляясь, и в каждую щелочку юркнув,
И висит, и течет, и баюкает запах,
Беззащитный, щекотный, щемящий, уютный...
Словно сильные губы лишь в лоб целовали,
Извиняясь как будто за каменный привкус,
Если сказочным замком сквозит в целлофане
Мандаринного детства оранжевый призрак...
Излучают витрины зарю мандаринов,
И смягчаются щек зачерствелых горбушки,
Словно всю эту зиму тебе подарили,
В новогоднюю ночь положив под подушку...

...И вот он, мой мальчик, Господи, если бы только можно было с ним поменяться местами, лежит неподвижно и шепчет, будто в бреду, как Чехов, "Ich sterbe...", и катится крупная мужская слеза по еще пухлой щеке...

Ну нет, я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес, цитата — а как своё, и беспомощность, ну, хоть головой об стенку, и согласный, рифмованный стук наших сердец в клинической тишине, как всегда в решительные минуты жизни, жизни, жизни... Потому что он хоть и не читал немцев, но как будто читал, унаследовал эту знобящую интуицию, проникающую за черту Знания, и при этом всегда говорит то, что думает...

"Как я всех ненавижу..."

Вокруг него суетились санитарки с горшками, раздавая пациентам "спасибо" за то, что те опорожнили свой мочевой пузырь или кишечник, над его головой дребезжали стеклянные речи, будто моют посуду после обеда... после обеда... (Ну что, что может быть интересно и важно тому, кто только что, ночью, уже заглянул Туда, где нет ни еды, ни уроков, ни выставок, ни-че-го, и кто сейчас еще на пути Оттуда, как над пропастью — по канату, вздохом бы не сплунуть, слишком громкая капельница...)

Я шепнула ему: "Я понимаю". И больше — ни слова. Пока он не взглянул наконец ясными ВЕРНУВШИМИСЯ глазами...

Мы знали, кого именно следует ненавидеть, но так получалось, что действительно почти всех...

Он уже два дня почти не вставал с нар, температурил, к ночи лицо пожелтело, ноги стали ватными, хлынула рвота.

Вызвали, сбежав на соседнюю улицу — в хайме на двести жильцов телефона не было — "Скорую", через два часа белый халат всадил на ходу, даже не присев, шприц (о, моя спасительная привычка оставлять в блюде осколки ампул, чтобы утром лечащий врач не гадал на кофейной гуще) и сказал, уже стоя одной ногой на лестнице, что завтра, мол, все пройдет, такой сейчас грипп...

Как мы дождались завтра — не помню, помню только, что поминутно смотрели на часы, и в 8.00 я уже звонила нашему доктору, а еще через час осторожно, останавливаясь едва ли не каждые десять минут — глоток кислорода, потерпи, сынок (это я или врач? кто это говорит? Оба), уже скоро, ехали мы в городской госпиталь. Потому что наш доктор с первого взгляда определил (и побледнел), что этот "грипп" называется сепсисом, заражением крови...

Самое ужасное, что все эти кретины или мерзавцы (если специалист верит мерзавцу, то сам он или кретин, или мерзавец, или то и другое вместе), собираясь — чепчиками — в ромашку над его головой, хором шелестели ему, что никакого укола не было, не было, не было...

И даже профессор, три ночи дежуривший у его изголовья в реанимации, спустившись к нему в отделение (когда

главная опасность уже миновала, но оставалось неясным, сможет ли он встать на ноги), не поспешил на дружеский совет забыть об уколе, который ему приснился.

И даже мой знакомый профессор литературы, навестивший сына и подаривший ему книжку Германа Гессе “Под колесами”, будто сам он её не читал или не понял, встретив в коридоре профессора медицины, своего одноклассника, не поленился вернуться в палату, чтобы сказать: “Всё хорошо, только забудь про укол, который тебе показался...”

Собственно, я бы вообще ничего не поняла в этих странных интригах, у меня не было сил думать о чем-нибудь, кроме: только бы встал, только бы сделал первый, хоть самый маленький шаг, опершись на плечо отца, а потом уже будет легче, а потом пусть всю жизнь делает всё, что хочет, пусть даже женится на какой-нибудь с зелеными волосами, с кольцом в ноздре, здесь таких много, я и её буду любить...

Но наш доктор, к которому я зашла поклониться — иначе не выразиться, рассказал, что этот фрукт из “Скорой” трясётся от страха, что уже надоел ему и не раз приезжал, утверждая, что никакого укола тогда не делал.

Осколки ампулы пронзительно сверкали на том самом блюдце с розовыми цветочками, которое я принесла ему две недели назад...

Он оказался единственным человеком, который не только спас мальчика, но и понял: нам нужен сын, наш родной единственный сын, а не денежная компенсация за него.

Он при мне выбросил осколки в ведро, они прозвенели коротко: “вжик” — как “жизнь”...

И мы оба знали, хотя не сговаривались, хотя он и не читал русскую классику, что если бы (нет, нет и еще раз нет, даже мысленно!), то:

“А мальчика-то и не было...”

Не было... Не было...

И укола не было...

И мальчика не было...

Ничего не было...

Никого не было...

И СЮДА мы ехали, чтобы спасти сына...

Белокрылые ребята

Не наткнутся на углы,

Их нестопанные пятки

Розовее пастилы...

Видишь, как они порхают,

Дразнят лентой голубой,

Подплывают и махают,

И зовут тебя с собой...

Сменим гнойный бинт на ранке –

И щекой прильну к плечу...

Я тебя, мой теплый ангел,

В ихний сонм не отпущу!

Я и Бога не прощу!!

Никого не подпущу

Ни в каком лучистом ранге!

Спи, мой ангел, мой один

Под вселенскими огнями...

Над кроваткой до седин

Досижу я, отгоняя

Рой назойливый... Сейчас...

Пей... Чуть-чуть... Еще немножко...

И дрожит на чайной ложке

Морс – как мой бессонный глаз...

...Бывают победы, о которых вспоминаешь с легким оттенком сожаления, в чувстве гордости меняется всего несколько букв — и в уголке сжатого рта образуется горечь... Свежанный фильтр обжигает губу, и вдруг вздрагиваешь от кислотоватого запаха жженой бумаги... Вот и все. А как струились кольца самозабвенного дыма, как вытягивались, одно из другого, в колеблющиеся геометрические фигуры, которым не было названия, но зато какой аромат...

Название убивает аромат, мысль припиливается, как бабочка к гербарии,— и мгновенно мертва.

Это не означает, конечно, что моя кошка живет более интенсивной духовной жизнью, чем я, оттого, что ориентируется по запахам и совсем не читает книжек. Многие двуногие следуют тому же утробному принципу: бегут на густой, наваристый дух жирных щей, а когда наедятся до отвала, до треска в туго набитом брюхе, сворачиваются клубочком перед телевизором. Умение говорить еще не отличает человека от животного, если человек может сказать со всей ответственностью только “Я люблю кислые щи”. Он вполне мог бы воспользоваться другим средством

коммуникации, например, как это делает при каждом удобном случае моя кошка: просто нырнуть мордой в кастрюлю, а потом, так же, как она, интеллигентно снять коготками некрасивые капустные усы, налипшие на треугольничек носа и кисло свисающие с него, свидетельствуя о глубоком погружении в суть вещей...

По-немецки "Intelligenz" выражает не интеллигентность в нашем, совестном понимании этого слова, а обозначает просто умного, знающего, даже хитрого человека. Именно так. В словарях и это прилагательное — "schlau" — приводится как один из синонимов.

Свинья считается здесь "sehr intelligent", к чему мне до сих пор никак не привыкнуть. Гораздо понятнее, когда она просто объявляется священным животным, независимо от ее личных (чуть не написала человеческих) свиных качеств.

...Учебник немецкого языка, вернее, скопированные из него для нас листки, раздавал человек лет около тридцати с тяжелым, хмурым, сорокалетним — и вдруг озорным, смеющимся взглядом. И снова смеркалось. Он явно думал о чем-то своём, а не о нас и не о своей учительской миссии.

А я в этот момент напряженно сидела за партой, сияющая, как первоклассница, боясь пошевелиться и спугнуть это внезапно догнавшее меня на крутом повороте жизни, давно забытое счастье: учиться...

Университет кончала заочно, экстерном, наспех, надо было отрабатывать долги за квартиру; благо память была еще молодая, держала с первой зацепки: "проглотить" учебник — и бегом на экзамен, пока не выветрилось... Один раз даже такси взяла, чтобы не расплескать знания по дороге...

А ксерокс в Ленинградской публичной библиотеке, где всегда любили заниматься студенты, был один. Его охранял милиционер. Для того чтобы получить оттиск с двух-трех страниц (больше не разрешалось), выстаивали две очереди: одну к заведующей — за письменным разрешением, другую — к милиционеру с прибором... А у них множительной техники — как грибов и ягод у нас под Сосново.

Учитель остановился возле меня, мы прошли сквозь друг друга невидящими потусторонними глазами, что-то кольнуло, и его, видимо, тоже. Потому что он на мгновение как бы очнулся, быстро, захлебываясь, заговорил и, не закончив какой-то, разумеется, непонятной мне фразы, махнув с досады рукой, рванул за дверь...

Я была еще плохой собеседницей...

...Учебник меня возмущал. Не правилами немецкой грамматики, разумеется, а примерами, подтверждающими эти правила. Что свинья в нем наделялась таким же эпитетом, как у нас — академик Сахаров, я уже пережила. В конце концов это их собственные прилагательные. Но вот что под фотографией гетевского дома сказано, что здесь жил автор "Фауста", который сам никогда не страдал отсутствием денег, именно так, в одно предложение, — это меня взбесило уже не на шутку. Ибо великий писатель, в какой бы стране ни угораздило его родиться "с умом и талантом", принадлежит не государству, а Времени, причем чаще всего — времени будущему...

Позже я поняла, что немецкому классику еще повезло. Их с Бетховеном хоть и в пфенниг, как говорится, не ставят, но по крайней мере на бутылки не лежат. А уж чужих гениев, особенно русских, ищите в винном отделе...

Одна гимназическая учительница в ответ на вопрос школьника из России, знает ли она Пушкина, ответила радостно и без промедления: "Да, очень вкусно, особенно красная". Впрочем, некоторые здесь предпочитают прозрачную, как мои по этому поводу слезы, водку "Рахманинов".

Из умерших композиторов хуже всех живется, на мой не просвещенный в этой области взгляд, все-таки Моцарту. От него, извините, просто тошнит: и на подарочных коробках, и на сувенирных пакетиках, и даже на самых маленьких шоколадках — везде вам сладко улыбается похожий белыми буклями на только что вышедшего из парикмахерской пуделя, перевязанный шелковым бантиком автор "Реквиема"... Причем реклама — это вам не вернисаж, здесь абстракционизм не пройдет: каждый куделек прорисован, кремовые щечки, сливочные пальчики...

Надо же догадаться так наповал выстрелить в спину поэту, так — на всю смерть — отравить память о композиторе: взрослые в Германии считают Пушкина — бутылкой, а дети Моцарта — конфетой.

Wie süß... Oh, mein Schatz...⁷

Ненавижу эти слова!

Даже перестала впоследствии видаться с одной немецкой приятельницей, которая не сделала мне ничего плохого, но постоянно слюнявила мои уши своим сосюканьем. Как только она называла "сладким" мой новый свитер, мне хотелось тут же выкинуть его на помойку. А уж если я сама устаивалась стать "ее сокровищем", то желваки мои каменели и стоило невероятных усилий не запустить в гостью провокационно стоящей рядом на столике малахитовой пепельницей...

В сущности, большинство неурядиц в моей жизни проистекало именно по филологическим причинам.

Я могла писать хорошие очерки для газет, но меня раздражали их названия, отражающие футуристическую паранойю советского мышления: "Знамя прогресса" и "Рабочая честь". И потому я с чувством естественного облегчения покинула сначала одну, а потом вторую, когда наш гуманный КГБ порешил, что хватит мне уже морочить советским людям их и без того несчастные головы.

Замуж не торопилась оттого, что быть за кем-то замужем звучало мне, как жить за каким-то мужем — как за забором... Но, исследовав всех знакомых представителей сильного пола по совмещенному мною методу Фрейда — Фромма (приходилось уже спешить, потому что маму моей подруги могли вот-вот выпихнуть из БАНИ на пенсию, и тогда доступ в запасники Библиотеки Академии Наук для всех нас закрывается) и не успев довести обследование до конца, я все-таки поняла главное: бояться нечего. Все равно не я буду с ними, а они — за мной. При любом возможном раскладе. И предприняла, одну за другой, несколько удачных попыток...

О книгах и славе не мечтала. Мне всегда не хватало тщеславия, чтобы взять себя за шиворот и потащить к успеху. Но этот недостаток с лихвой компенсировало кровоточащее по ночам честолюбие. С таким пороком жить

гораздо сложнее: мое честолюбие требовало только большого и только действительно заслуженного, я бы, наверное, отказалась от Государственной премии, посчитав, что мне просто фартит и есть более достойные кандидатуры. Государство тоже считало так, и в этом вопросе у нас не было никаких разногласий...

Вот с таким багажом (это его краткое, беглое описание, предназначенное для твоей, читатель, умственной камеры хранения) я и приехала на родину моих духовных учителей и, стыдно сказать, но невзирая на уже накопившийся негативный Erfahrung женского рода (какой все-таки точный язык: едет куда-то человек — и по дороге собирает опыт) перед немецким интеллектом готова была робеть благоговейно.

Странно, что сидевший, точнее, досматривавший, сидя за учительским столом, какой-то тяжелый сон все это, кажется, понимал. По его высокому лбу тоже змеились ядовитые мысли, сквозь мятую рубашку в пятнах (интересно, не ночевал ли он сегодня на вокзале, иначе с чего бы стали темой сегодняшнего занятия разборки с полицией?) то и дело выглядывали ослепительные манжеты аристократа.

Он оказался тем редким человеком, который не терзал мои барабанные перепонки ни глупостью, ни пошлостью, ни пустой назойливой болтовней. Словом, мы говорили на одном языке, хотя нас контузило разными кирпичами, упавшими с Вавилонской башни.

Но для начала мы, разумеется, круто поссорились...

...Я, с трудом поворачивая свой будто распухший, непослушный язык, отвечаю на его вопрос, что родилась в Петербурге. (Я всегда говорила так, даже тогда, когда это злило чиновников города Ленина, формулировка вошла в привычку гораздо раньше, чем место моего рождения снова зазвучало гордо и ослепительно, как его свежепозолоченные купола.)

Он, вспыхнув, парирует, что нету, мол, такого города, а есть всеми уважаемый Ленинград.

(Социалист? Но откуда у социалиста тонкие нервные пальцы пианиста? Я еще не знала, что есть здесь и такие, неплохие, кстати, ребята, сами себе господа, понятия не имеющие о том, что случается, когда их кумиры приходят к власти.)

Он спрашивает, сколько мне лет (отвратительная немецкая привычка — выяснять, с точностью до месяцев, дамский возраст и вообще придавать возрасту слишком большое значение. Например, все происшествия описываются в городской газете примерно так: “Вчера на улице Кошкиного Ручья — я беру одно из типичных названий немецких улиц — 39-летний водитель мотоцикла совершил наезд на одну 42-летнюю, переходившую улицу...” Как будто если бы ему было 42, а ей — 39, это бы что-то изменило в их роковой встрече). И, услышав мой, как мне казалось, еще вполне произносимый вслух ответ, этот, сам уже не первой молодости, субъект объявляет во всеуслышание, притом почти с грустью, что в Германии это “капут”...

Естественно, что я, в свою очередь, пытаюсь у него выяснить, как называется по-немецки человеческая тонкость, сопряженная с уважением к женщине, тактичность, и наугад подсказываю: “Тактгефюль?” — с вопросительным, разумеется, знаком.

(Что-то внутри меня уже подскакивает, поддразнивает, что “капут” будет ему, потому что этого я так не оставлю.)

Он, внезапно переходя на рык, клопочет, что в немецком языке таких понятий не существует, как и — отвечая на мой упрек — сознания вины, а только денежного долга, и высказывает в три прыжка раненым оленем за дверь — отдышаться...

А на следующее утро робко, краснея половиной лица (такая вот половинчатость), положит передо мной два поэтических томика, своих любимых. Один из них — Октавио Паса, лауреата Нобелевской премии, о котором я могла только слышать: его лишь теперь, совсем недавно, перевели на русский. Мне он приоткрылся в первый раз тогда, на немецком...

...Учиться было легко, радостно, чему немало способствовало отсутствие какой-либо определенной программы на курсах — с одной стороны, и отсутствие у учащихся дома, в нормальном, уютном смысле этого слова — с другой: в школе начисто забывалось о гетто, как будто его и не было, как будто мои нары уже писали обо мне мемуары, а не ждали меня к ночи обратно, чтобы снова впитаться сквозь тощий матрас всеми своими железными пружинами.

Мы перескакивали с предмета на предмет, как бабочка перелетает с цветка на цветок, и мне нравилось, что кончики пальцев ощущают неведомую цветочную пыльцу.

К тому же я уже догадывалась, что все курсы для иностранцев существуют вовсе не для иностранцев, а для того, чтобы дать бедным немецким гуманитариям хоть какую-нибудь зарплату. Мы были, по существу, в почти одинаковом положении, ибо они, сыновья прославленных немецких университетов, чувствуют себя в пивоварной и маульташной Германии не в своей тарелке, то есть как бы и не в своей стране.

Приторный дух пивных дрожжей проникал в класс из соседнего здания, это мешало сосредоточиться, но зато придавало изучаемому языку некий этнически-исторический подтекст.

Но больше всего, как и в любом театре, меня здесь восхищали ремарки, хотя я еще ничего не знала о настоящей профессии моего нового сумасшедшего друга, связанной не со штутгартским ликбезом для иностранцев, а с маленькой венской сценой. Опаздывая по своему обыкновению на полчаса на занятие, он вежливо здоровался и задумчиво, как бы в качестве или вместо извинения, произносил:

“Как вы знаете, немцы очень пунктуальны... Итак, следующая наша тема — часы и время...”

...Вообще я теперь думаю, что в каком бы возрасте ни сел человек за парту, он все равно становится ребенком. В этом я окончательно убедилась, навестив в Нью-Йорке свою бывшую сослуживицу, почечницу и сердечницу с

большим пенсионным стажем. Она в этот момент как раз разговаривала по телефону со своей тамошней подружкой по Туро-колледжу, про который ее пятилетний внук, вовсе не стараясь быть остроумным, но оперируя знакомыми ему понятиями, говорил так: “Бабушки нет, она ушла в дурао-колледж”. Так вот на сей раз бабушка, к счастью, оказалась дома, но была очень взволнована результатами сочинения.

“Представляешь,— чуть не плакала она в трубку,— я ей, училке, пять страниц про Агату Кристи написала, а она — ноль внимания, даже спасибо не сказала”.

...В классе, кроме нас двоих, постоянно ссорящихся и мирящихся, к чему все постепенно привыкли и уже даже не замечали, тихо занимались (каждый — своим делом) еще тридцать человек, и вполне возможно, что они там из-за нас так ничему и не научились. Но если научились чему-нибудь большему, чем “Я люблю кислые щи” (или же маульташи и пиво), то это в какой-то степени тоже благодаря нам.

Он, во всяком случае, на следующий день после выпускного экзамена пришлет мне в хайм письмо с благодарностью за совместную работу и с надеждой, что мы устоим и в последней (очередной) нашей размолвке...

...А пока я, черпая язык, главным образом из него, хотя были у меня уже и знакомые профессора славистики, знающие мое литературное имя, но именно его язык, застенчиво патетический, с легким налетом сарказма, как бы посвящал меня в ту шизоидную Германию, которая грезилась мне еще в студенческой юности.

Над его рано облысевшим выпуклым черепом, видно, немало потрудились не только природа, но и семья: родители вкладывали в него томик за томиком, симфонию за симфонией до тех пор, пока всей этой библио- фоно- и еще много чего -теке не стало тесно, и тогда грецкий орех предупреждающе затрещал, засверкали в висках головные боли, накатила волна типично петербургской хандры в довольной судьбой и собой картофельно-виноградной Швабии...

Все это мне было видно сквозь тонкую, стеклянную для меня кожу его высокого лба; потом однажды, в маленьком захолустном кафе, он, потупившись, вдруг спросит, всегда ли я так читаю закрытые книги, и я помедлю с ответом.

Еще в университете, где штудировал историю, попались ему под горячую руку русские анархисты, чем-то, видимо, похожие на меня, залихватски расправлявшиеся со слащавым обществом и его шоколадной культурой; мыслями завладел Троцкий...

Ну вот, а я ему — о Гегеле, а он его, разумеется, на дух не переносит со всеми его теориями “несчастливого сознания”. Потому что ему это все не запрещали, а, наоборот, насильно вводили, как бастующе голодающему — питательный бульон, как нам — Маркса. (Помню, с каким восторгом я обнаружила в Ленинграде новые вывески на одной из самых больших магистралей Выборгской стороны; со всех домов восклицало: “Пр. им. КАЛА МАРКСА”, вся страна была у нас имени этого самого.)

Так что политические разногласия между нами вскоре были устранены: каждый простил другому университетскую аллергию на некоторые имена. Тем более что сошлись на Ницше и французских импрессионистах.

А вскоре он придет на день рождения к нашему общему приятелю со случайно изданной на немецком книжкой Одоевского “Петербургские ночи”, и все будут спрашивать, что это за книжка, а он многозначительно промолчит, потому что, конечно же, понятия не имеет, только что купил — за название, и многозначительно поглядит на меня...

Наши диалоги всегда шли по касательной.

...И после всех наших задушевных бесед, состоявших главным образом из полуфраз, после всех вспышек щек и поочередных обетов молчания, длящегося иногда по несколько месяцев (я подыгрывала его болезненной ревности, ибо душа его нуждалась не в завоевании, а в трепете предвкушения), после диктанта в лесу (нашел место), после моих громко дребезжащих от страха и чего-то еще, давно забытого, коленных чашечек у него дома (умница, вышел на кухню сварить кофе, вернулся бледный, как полотенце, синяя вздутая жилка на алом виске, уронил чашку, бурый кофе растекался медведем по тепиху), после его неприезда в мой Петербург (где, бухаясь с трапа в кучу друзей, подумала: зря приглашала, все ему здесь чужое, будет только дрожать от холода и злиться от непонимания; а он в это время, конечно, сломал ногу на тренировке), после того, что мы уже начали смутно догадываться о недовольстве нами не только наших семей, но и наших Богов: ибо при каждом, даже косвенном приближении друг к другу сыпались с обеих сторон смерти, болезни, суициды, после всего этого и, наконец, как мне показалось, забвения, он позвонит, чтобы уже не молча подышать в трубку и повесить ее, как обычно,

а твердо и грустно признаться:

— Бог дал мне только один талант: видеть чужие таланты.

В том-то и дело, что я за все свои метания в жизни плачу своими словами, своей неудержимо хлещущей кровью, а он — цитатами. Он всегда посвящал мне чужие мысли и чувства, ставя на титульных листах не им написанных книг свои автографы. Здесь почему-то дарственные надписи на чужих книгах тоже называются “Widmung” — посвящение. Точно так же, как и печатное, официальное посвящение ему большой двуязычной книги стихов, исписанных моей тоской и моим сарказмом, изданной в одном из немецких университетов. Будет потом сидеть на старости у камелька, перечитывать и вспоминать. Это единственное, что я могла для него сделать.

И если когда-нибудь эти записки будут переведены, меня согревает мысль, что есть один человек, который не ополчится на меня за Германию, хотя и ему, конечно, за державу обидно. И, может быть, больнее, чем кому-то другому. (Так же, как и мне,— за Россию, когда ее линчуют другие.)

Но если бы он мог написать о ней сам, то получилось бы что-то до боли похожее, да, до боли, до спазма, до ожога стыда, до тихого, без закуси, покаяния...

И как будто опять сотворенье начал:
Виноградная дрожь и сгущение красок...
Но всего только шаг до срывания масок
И уже не Венеция – голый причал...

Никогда не стремилась, «чтоб как у людей...»
Может, Ангел Судьбы за терпенье потрафил...
И клюет с бело-розовых рук площадей
Ястребиное зренье российских метафор.

Я пила и хмелела полночный Нью-Йорк
Из высотных бокалов (навыдумал зодчий)
И теперь если сердце отчаянно «ёк» –
Значит, в доме случайном почудился отчий...

Я читала размытых огней письмена
В перевернутых книгах и Сены, и Темзы...
Отпусти мою руку. Шершава она.
Это в детстве... Чернила... Напильником пемзы...

Меня давно занимает вопрос, что же такое менталитет, и немецкий менталитет в частности. Не порожний ли это звук модного слова, не миф ли в той же степени, что и загадочная русская душа, и белозубая американская открытость, и французская двух-трех- и более-смысленная любвеобильность, и английская, подчеркнутая ледяным воротничком, чопорность?

Ну, во-первых, ни в одной, как говорится, семье не обходится без урода. Под уродами все без исключения семьи подразумевают своих неприкаянных чудаков: поэтов, художников, музыкантов. Эти (хорошо еще, если со снисходительным оттенком образованщины, со скидкой на классику) идиоты, где бы они ни жили, ухитряются совершенно не понимать, где они живут. Рисуют не доярку с молочным выменем и не сексбому с открытым запалом, а какую-то невзрачную Мону Лизу со щербинкой в зубах; не умеют фотографировать в замочную скважину, видят в лужах звезды, не уважают самую изящную в мире лиру — графическое изображение доллара, и вообще шелесту купюр предпочитают бессмысленный шорох листвы. Эти люди потеряны для любого общества. Конченные, можно сказать, люди и к тому же всегда уклоняющиеся от налогов на том основании, что у них, видите ли, нет денег. А откуда ж им, деньгам, взяться, если они на деревьях, как известно, нигде не растут; продавать надо, что производишь, а если ничего не производишь, надо уметь перепродать.

Этих, прости их Господи, инвалидов здравого смысла, отличающихся от лучезарного больного в моем окне только тем, что они что-то там сочиняют или пиликают, ни одна общественная наука в расчет не берет. Все равно они и на выборы, как правило, не ходят, хотя их этого гражданского права и не лишали; но они почему-то заранее знают, что выберут, дай-то Бог, не самого глупого негодяя, который их, дай-то Бог, не тронет, оставит в покое, и можно будет снова играть в слова, мусолить кисточки или нырнуть головой в роуль.

Говоря о менталитете, а именно о немецком менталитете, я подразумеваю тех порядочных граждан, которые утром, а не на ночь и не весь день напролет пьют кофий (не обжигаясь, внимательными глотками и непременно со сливками), никогда не опаздывают ни на службу, ни на Миттагессен (что свято — то должно быть свято), увлеченно следят за уровнем холестерина у себя в крови и за тюлевой занавеской в соседских окнах, никогда ни секунды не задержатся в своем кабинете, если рабочий день уже закончен, пусть даже у дверей кто-то внезапно умер — это проблема того, кто лег умирать в непопозднное время в не отведенном для этого занятии месте; а хозяин кабинета — владелец менталитета — должен вежливо переступить через труп и, пожелав встретившимся в коридоре коллегам "Schoßnes Wochenende" (и подумав при этом: "Чтоб вы все сдохли") спокойно пройти на оплаченную стоянку к своему вымытому накануне автомобилю.

Чюс-кюс, чюс-кюс, чюс-кюс... Русскими ерничающими буквами эти прощальные страсти-сласти воспроизводятся еще более пакостно и хорошо: гротеск — это реализм, бросающийся в глаза, правда, которую нельзя не заметить, если, конечно, не отворачиваться от неё и не натягивать на уши звуконепроницаемую шапку.

Постепенно я стараюсь избавиться от большинства своих немецких знакомых, и в первую очередь от тех, которые "любят аусландеров" и ругают Германию.

Именно они, сами того не осознавая, — самые глупые, самые фальшивые и, по сути, нацисты. Так в России какой-нибудь добродушный пузан в начальственном кресле мог порассуждать на досуге, как он любит евреев, что у него даже есть один знакомый еврей, и совсем даже неплохой человек, не жид порхатый. А ведь именно это — запоминание людей по национальному принципу — и есть основа любого нацизма. Не говоря уже о том, что в качестве сослуживца он бы этого "своего еврея" на ковер не пустил, хоть бы того и поперли отовсюду, как это бывало, за "пятый пункт" и светлую, без кавычек, голову. Похлопал бы покровительственно по плечу, на всякий случай уже брезгливо отодвигаясь: ну, ты, мол, брат, и сам все понимаешь, если б я мог, я бы...

Немцы, отдать им должное, в сослагательном наклонении не рассуждают. Квартира, работа — все это наши проблемы, как, собственно, и каждого из них. Но они говорят: "У немцев тоже нет работы", "Немцам тоже не хватает квартир", "Немцы трудятся, немцы платят налоги". Одним словом, немцы, немцев, немцам — во всех падежах. Как

будто “немец” — это профессия или даже специалист высокой квалификации, а не всего-навсего национальность. Да и трудятся они, чего уж греха таить, чаще всего в многочисленных сотах бюро, а улицы им метут и тарелки скоблят те самые ауслендеры, иностранцы, которых некоторые из них так любят. Особенно сильно любят, если ауслендер еще и культурный человек с университетским дипломом.

Ну да ладно, хватит брюзжать, тем более что все равно Германия скоро абсолютным большинством жителей примет ислам и Аллах всем нам поможет найти работу или новую Родину...

Нет, действительно хватит, ей-богу, майн Гот, достаточно, так ведь можно однажды себя и на лавочке перед хаймом обнаружить: сидишь и с ностальгической нежностью вспоминаешь...

О чем? А разве не о чем?

О молодости, ну да, конечно, о молодости, потому что там и первые ямбы, и первые звезды, а не только бычки в томате и “Солнцедар”, от которого утром ломило голову, как от удара утюгом по затылку.

Собственно, я уже вернулась туда, на свою родину — в русский язык, когда начала писать не на чужом — о России, а на родном — о Германии. А если я вернусь еще и на свою любимую улицу, то... горе ей и всему русскому менталитету. Потому что я в отличие от моей кошки не люблю шкодить на тихаря. Ругатель должен находиться в досягаемости ответного удара, чтобы, глядя в глаза обиженному обидчику, ответить на неминуемый вопрос: если все здесь так плохо, то почему ты все еще здесь?

Думаю, что если эти записки будут когда-нибудь переведены на немецкий, то немецкий читатель, особенно если это читательница, пропишит именно это уже на самых первых страницах.

Здесь и без всякого повода, без всякого недовольства чем-либо со стороны эмигранта могут запросто подойти прямо на улице к постороннему человеку и озадачить его, что называется, наповал: “А почему вы приехали в Германию?”

Звучит это “почему” как “не почему”, а “зачем”, то есть какого черта, собственно, так оно и переводится, если переводить не дословно, а точно.

У меня нет ни одного приятеля, ни одного, так сказать, друга, который раньше или позже не всадил бы мне в печень этот вопрос. И большинство — именно раньше, за первым же — zusammen — кофе или прямо в прихожей, загорюбив спиной комнату и протягивая руку, которую так не хочется пожимать. Потому что это и есть нацизм.

— Oh, Ruiland, Wodka, Jelzin! Warum sind Sie gekommen? — спрашивают, как допрашивают. И даже не понимают, до какой степени все они бескультурны, если доцент одержим тем же вопросом, что и уборщица.

Представляю себе такую картину: идет лицо немецкой национальности по Невскому проспекту, спрашивает прохожих, как пройти к Эрмитажу, а в ответ слышит: “А вы откуда? А, Германия — Коль, пиво, сосиски! А вы зачем в Россию приехали? А вы здесь не останетесь?..”

Да если б какой-нибудь распоследний алкаш с тремя классами к постороннему человеку так привязался, его бы другие проходимцы через улицу тут же утихомирили; еще бы по физиономии схлопотал за такое “гостеприимство”.

Потому что наши люди — культурны. Это не парадокс и не сарказм. И накостылять могут, и вилку в левой руке до сих пор как-то наперекосяк держат, и вино красное, не подогрев, прямо из холодильника в стакан ливанут, но сердцем русский крестьянин культурней немецкого профессора.

Стоп, стоп, а разве не лезли в душу прямо в галошах, сияющих, спрыгивающих одна за другой с конвейера фабрики “Красный треугольник”, а милиционер, участковый, помнишь участкового, как он ворвался с тремя дружинниками в квартиру, чтобы проверить: что это вы там читаете по ночам?.. (А читали вы, разумеется, Солженицына.)

Не от этого ли вмешательства в личную жизнь со всеми вытекающими отсюда по- и действительно -следствиями и стремились в свободный мир, где никого не волнует, горит ли у тебя свет по ночам, да и вообще, жив ли ты еще...

Тем более что никто здесь почти не читает и не пишет, а пишут только те, кому за это хоть что-то платят, значит, так и пишут, чтобы платили, и, следовательно, опасности для общества не представляют.

Россия в самом деле удивительная страна. Мы мазохисты. Сами спим на полу, а гостю стелим единственную в доме перину. У нас даже вожди такие же полоумные: всегда воевали не с чужими народами, а со своим собственным. Гитлер строил Освенцим для славян и евреев, а Сталин — тоже для славян и евреев, впрочем, и для немцев тоже, но не для немецких немцев, а опять-таки для наших, своих, и в первую очередь для товарищей по партии.

Так в чем же она, загадка русской души? В светлой наивности, плавно перетекающей в ослепительную глупость?

Думаю, что все же в культуре. И не в русской национальной культуре (Бердяев, Флоренский, Соловьев...) — гениями, лет через сто после их смерти, может похвастать каждый народ, — а в самой обыкновенной, человеческой.

Еще Петр I учил своих подданных не только “пальцами и яйцами в соль не тыкать” (чему так и не научились), но, главное, “не плюй в тарелку соседа”...

Мы других шибко любим — вот что. А к себе самим испытываем отвращение, как к пресмыкающимся (я себя тоже люблю, между прочим, как змею подколодную), и стараемся навредить себе как только можем.

А может, и хватит пресмыкаться-то? В Петербурге и в первопрестольной — метро мраморное, позолотой крещенное, а в Нью-Йорке и Лондоне — льется под ноги коричневый урин из недопитых баночек “кока-колы”. И ведь, заметьте, совершенно не важно, какая политическая погода стоит на дворе, просто у нас другим под нос гадить не принято.

В Германии, правда, всегда был культ чистоты, улицы вылизывались до полной стерильности, то есть до отсутствия на них даже бактерий, без которых, как известно, нет жизни. Но культ и культура — далеко не синонимы. Наоборот, одно часто исключает другое.

Иногда я включаю телевизор, и через десять минут мне становится нехорошо: на экране самодовольный, весь в

бицепсах молодой человек смачно чавкает шоколадкой, поднося ее к носу собачки — и тут же отправляя себе в рот, следующий такой же трюк — с девушкой, в общем, что-то вроде “А ну-ка, отними!”, были у нас такие конфеты, но вот таких “джентльменов” даже советская власть не воспитывала.

Или, например, реклама парикмахерской, текст за кадром: “Мои соседки завидуют мне, что я такая красивая, а я им не скажу, что я всегда хожу делать прическу к...” — дальше, разумеется, следует адрес. Но дети, для которых телеэкран — бесплатная няня, вырастают с твердой уверенностью, что жить надо не по совести, а по зависти, что с прекрасным полом нечего церемониться; здесь не уступят место женщине, а если кто уступил — можешь смело обращаться к нему по-русски.

(Это такая же народная примета, как — на весь трамвай — великий, могучий, не забытый в скитаниях, в общем, памятник русской культуры трехэтажной постройки...)

И вообще мне кажется, что, как это ни странно, всё то, что советская пропаганда рассказывала нам о капитализме, было правдой. И только то, что она плела о социализме,— ложью, в чем мы, впрочем, никогда и не сомневались.

Человек человеку — волк. И у немцев это получается как-то уж особенно хорошо. Я бы даже памятник Рому и Ромулу из Италии в Германию перенесла, как наиболее соответствующий менталитету.

А всё остальное, доходящее до анекдотичности законопослушание, например,— это уже мелочи, карликовые ростки, которые приятно разнообразят гладкоскользкий пейзаж нордического характера. Во всяком случае, как-то “оттепляют” представление о нем.

Выхожу я однажды на тихую узкую улицу, уже и вовсе обезмашинело, все порядочные люди давно спят, только какой-то покачивающийся субъект торчит под светофором и, когда я с ним поравнялась, спрашивает: “Не знаешь, где тут еще светофор, этот сломан, а мне надо на ту сторону”. Знаю: довольно далеко, за поворотом. “Так что же мне делать?!”

Представляете себе русского алкаша, застывшего в отчаянии перед такой дилеммой?.. Да мы все, вместе с нашими начальниками ГАИ, на красный свет как к родной маме в объятия бежим.

Немцы безошибочно реагируют на световые и звуковые сигналы.

Они уже твердо знают, что убивать евреев — нехорошо. И что антисемитизм — это совсем плохо. Поэтому, если какой-нибудь новый Адольф фон Шариков придет и скажет, что мы с вами сейчас начнем убивать евреев и становиться антисемитами, они напишут плакат и выйдут в знак протеста на демонстрацию. Но он же не такой дурак, чтобы повторять прошлые ошибки. Он, наоборот, напомним всем, что антисемитизм — это позор нации, и мы сейчас будем с вами бить не евреев, а всех “не наших”, которые понаехали и из-за которых у нас тут безработица, криминалитет и все прочее...

И тогда они начнут бить. Спокойно. Послушно. Сосредоточено. Постепенно входя во вкус и в экстаз, — все же так все мы люди, и они тоже могут погорячиться при всей своей дисциплинированности и привычке не делать лишнего... И опять укокошат семь или больше миллионов...

Не правых надо бояться, не тех, кто знает, что и зачем он делает, может, правые в глубине своей души более левые, чем левые, но рынок идей уже поделили, и им достались именно эти, правые идеи, которых никто не взял... Бояться надо тихих, послушных, старательных, имя коим — народ...

Но вот что интересно: немцы никогда не вызывают у меня жалости... Их можно ненавидеть, но ими нельзя пренебречь. В ненависти ведь, согласитесь, есть некий холодок уважения, чувства дистанции. Словом, я нахожу в немцах всё то, чего мне недостает в евреях.

А интересно, кого в мире было всё-таки больше: великих евреев или великих немцев? Наверное, великих немецких евреев или великих еврейских немцев.

Потому что это как бы пламень и лёд в одном сосуде.

И вообще, чего я к ним привязалась, люди как люди.

Честно признаться, я и до сих пор толком не знаю, что это я такое пишу, то есть, к какому жанру относится моё, так сказать, произведение. Я хочу только одного: чтобы оно как можно скорей окончилось и отпустило, если не душу — на упокой, то хотя бы тело — в бассейн.

А границы жанров в наше эклектичное время везде смываются или же легко приподымаются одной рукой — как веревочные оградки, поделившие прямоугольный рай цвета медного купороса на дорожки для плавающих.

Кто может мне, например, точно сказать, где кончается свободное предпринимательство и начинается свободная спекуляция? То есть, какую прибавочную стоимость присваивать можно и нужно, а какую цену следует осудить как “накрученную”? Вопрос этот обычно решается эмпирически, попросту говоря: по какой цене берут — та, стало быть, и научная. В блокаду, например, знаменитые часы Буре, полкило золота с цепью, шли за буханку. Смеем предполагать, что первые “новые русские” появились уже тогда, только их тогда как-то иначе называли.

Я не знаю, где граница между севером и югом,

Я не знаю, где граница меж товарищем — и другом...

Вот и я не знаю... и лезут ко мне всякие господа-товарищи в непрошенные лагерные кореша (лагерь — это место концентрации русских евреев, где плотность заселения переходит уже в почти сплюсченность), болит у них, корешей, душа за культуру в свободное от спекуляции машинами время, а поэт — утешай...

Ну а что касается этих записок, то они по своему внутреннему жанру что-то вроде дневников Анны Франк или ленинградской школьницы Тани Савичевой:

Вот уже и Петруковых нет...

И Гришмановых...

И Кацнельбобенов...

А мы все еще здесь, на Viehwasen, 22; замечательный, кстати, адрес, я его для книги даже менять не собираюсь, еще и вынесу в заголовок большими многозначительными буквами, потому что не найти метафоры точней и невероятней, чем самая обыкновенная повседневная жизнь.

Мне, между прочим, посоветовал так назвать свою книгу об эмиграции еще там, еще тогда, один очень толковый, хотя и царапающе циничный, социальный работник. (Циники глупыми не бывают, это прерогатива, увы и ах, прекраснородушных болванов, которые изо всех сил тщатся стать ну очень хорошими людьми, но у них это из-за глупости не очень-то получается, могут нагадить совершенно произвольно, из лучших, так сказать, побуждений.) Он же, если кому и пакостил, то по-немецки, из мести, а из властолюбия, наоборот, всем искренне помогал, не щадя темени и времени своего, и вообще в отличие от многих своих коллег не зря получал зарплату.

В юности обременил себя двумя высшими образованиями, читал Оруэлла и, конечно, знал сакраментальную фразу "Все животные равны, но есть животные равнее других..."

— Если я неправильно паркую машину,— смеялся он, делаясь со мною своими наблюдениями,— я плачу штраф, а еврей, вместо того чтобы заплатить по квитанции, кричит: "Караул, антисемитизм!"

Мне нечего было ему возразить, он поневоле стал хорошим специалистом по "еврейскому вопросу", но он-то — по долгу службы, а я — на кой черт и за какие грехи?!

Да, именно так, Viehwasen, 22, скотский хутор, где все пытаются ставить свои длинные еврейские "пяточки" в чужие дела, а если еще учесть отношение к этому патетическому адресу аборигенов, заносчивых жителей почти кассилевской страны — Швабрании, то становится ясно: никакой научной или не научной фантастики не бывает; просто есть реалисты, которым удается заглянуть туда, куда другим реалистам вход воспрещен, и последние, чтобы не выглядеть недотепами, объявляют осязаемо существующие планеты плодами воображения первых.

Мне тоже, прочитав эту книгу, могут заявить, что так, дескать, не бывает, что нет ни Германии такой, наверное, автор просто принял за ворот лишнего, как говорят немцы, "über Hals", и вообразил себя Колумбом, спутав Индию с Америкой; и уж чего совершенно точно не может быть — так это такой улицы на штутгартской карте и такого свинского общезития.

Не верите? А мы сейчас снова туда вернемся, потому что что же нам делать, куда же нам еще возвращаться, если мы там прописаны-анмельдованы, если там — место автора в стойле и его доля в кормушке. В том-то и дело, что возвращаться нам, господа эмигранты, больше некуда.

А жанр... (Мы его, если мне еще не изменяет память, так и не установили.) Ну что ж, отнесем эти записки просто и скромно к "пушкинской прозе". Почему к пушкинской? А помните: "Родила царица в ночь не то сына — не то дочь".

Also, приехали.

Ничего не изменила заграница.
Разве только поулыбчивее лица.

Разве только виды более гористы.
И не снятся с первым снегом декабристы...

Разве только (уж не этого ли ради...)
С дрожью шепчущие губы – в шоколаде...

Да торчит, как на помятом хулигане,
Синтетический колпак на пальтугане...

Лучше было в этот мир явиться кошкой,
Чем зачуханною теткою с картошкой...

С мужиком на хмурой шее да с дитяи...

Ноют ночью заусенцы под ногтями...
Помереть бы тихо – тихо, без мучений,
Не нарушив гул и глянец развлечений...

Я увидела Париж, чего же боле...
О покое помолюсь, а не о воле.

В этой жизни мне и скушно, и натужно,
А другая... Коли нет – так и не нужно...

...И опять потянулись дни, и даже не один за другим, а узеньким сплошняком, серой тягомотинкой, как обезвкусевшая уже жвачка, когда пытаешься отодрать ее от зубов.

Будто нет, не было и не будет никогда ни чисел, ни месяцев, ни страны, ни мира, а только этот растрескавшийся

панцирь асфальта, над которым торчат несколько замшелых барачков да несколько пробившихся-таки к свету пыльных травинков...

Чудо-юдо...

Чудо — Jude...

Viehwasen, 22...

И еще автор заранее просит извинить его за ненормативную лексику, проникшую в повествование из ненормативной, так сказать, жизни...

...Ночь, нехотя переходящая в раннее, еще очень ночное утро... Только в это время можно сразу дозвониться из будки до Ленинграда.

(Как там моя рыжая бестия, сидит, верно, на адаптировавших ее коленях и сладко, как Владимир Ильич, щурится — сознание мое онемечивается, meine liebe Katze, глагол сам ползет, поджимая хвост, в конец предложения...)

В разбавленном одним жидким фонарем (я имею в виду слабенький блик, а не жидомасонский источник света...), в глубокой еще темноте двора различаю я мужской силуэт, отделившийся от противоположной стены и надвигающийся прямо на меня...

Страха, разумеется, нет. Я же не араб, чтобы бежать от одного еврея...

Только вот что ему от меня надо? Зажигалку?

Он уже дышит стеснительно мне в лицо, переминается с ноги на ногу и, поглаживая интеллигентский клинышек кучей бородки, осведомляется:

- Простите, но очень интересно узнать, куда это Вы идёте?

Ну что, что можно было ответить, кроме:

- В вонунгсамт, за ключами от пятикомнатной, а Вы тоже? Или по-маленькому?

...Бесплатную газету (сорок страниц вздора, од ветчине, славословий в адрес отцов города, достойных советской, как мы тогда говорили, много-вы-тирашки, сексуальных призывных стонов под видом массажных объявлений, а Кафку, "Der Schloß", 9 мне еле откопали в городской библиотеке, давно не переиздавался), так вот, эту газетку выгружали у наших ворот по четвергам целыми тележками.

Очевидно, юным бизнесменам, школьникам-разносчикам, было сподручнее вывалить своё задание здесь, чем выискивать редкие на нашей улице почтовые ящики.

И вдруг — через полчаса — уже ни одной газетки...

Жаль, в кои-то веки понадобилось, там должно было быть несколько строчек о первой выставке мужа, всё-таки как-никак сувенир.

Спрашиваю хаузмастера, куда подевалась гора сегодняшней прессы, а он хохочет:

— Да герр Панасюк всё, до последнего листика, к себе оттащил, чтобы в поисках "Wohnung" und "Arbeit" не иметь конкурентов.

(Вероятно, "герр Панасюк" полагал, что конкуренты живут только здесь, на Фиевазен, а то бы он весь город обегал, чтобы уничтожить почти полумиллионный тираж...)

...Костик вбегает радостный, возбужденный:

— А на вашем месте,— мы уже переехали — через коридор — в комнату попросторней,— Доберман поселился!

И чего это он, думаю, в таком восторге, какая, в сущности, разница, кто там теперь живет: слева Оберман — справа, значит, Доберман. А где-то в Израиле — Губерман.

Мне и в голову не пришло, что он — о настоящем, изящном, как балерина, на четырех, правда, пуантах, очаровательном пинчере. (Костик тоже любил животных, и наша с ним полная адаптация произойдет, когда у него в доме появится сеттер с влажными, бархатными, как бы "анютиными глазками", а порог моей квартиры переступит наша рыжая хвостатая девочка, приехавшая наконец для воссоединения с семьей.)

Но тогда я, трезво оценив ситуацию, покачала перед зеркалом головой: плохой симптом. Ты, кажется, начинаешь туго соображать...

...Вообще местные газеты по своей бездарности и безликости вполне могли бы вызвать на социалистическое соревнование всю советскую прессу имени нашего дорогого, сочно причмокивавшего, не столь харизматического, сколь маразматического "лично товарища"... Вот только читатели здесь в отличие от российских не строптивы: всему верят и возмущаются не корреспондентом, а только вместе с ним каким-нибудь фактом. Да и то не возмущаются, а обсуждают, переливают полученную информацию из пустого в порожнее...

И пользуются каждую неделю новыми косметическими кремами и лекарствами, которые заботливо рекомендуют производители и продавцы, заботясь, естественно, главным образом о том, чтобы ваши марки стали их марками. (Немецкое общество можно смело охарактеризовать как общество "филателистов".)

Если вычесть эту потребительскую наивность, то мне иногда даже кажется, что Германия и есть страна того самого развитого — слышите воркующее ударение на "о"? — социализма, о котором мечтали в нашем пенсионном

правительстве.

Тишь да гладь, все улыбаются, можно спокойно играть в машинки...

С той только поправкой, что здесь 75 лет расцветом творческих сил не назовут нигде, даже в бундестаге...

— Слушай, а какая разница между бундестагом и бундесратом?

— Отхлынь,— говорю,— сынок, не знаю, наверное, как между статосратом и сратостатом, все одно — дирижопль.

И заслоняю глаза тяжелыми портьерами век, поленившись сходить к покрытому пятнами ржавчины, как глобус морями, общественному умывальнику.

Еще один нехороший симптом: так можно сначала перестать умываться, а потом и вовсе встать...

...Иногда ко мне в гости приходит известный поэт местного значения. Он пишет не на немецком, а на швабском, который, кроме него, никто не понимает, и поэтому он пользуется уважением.

Когда он первый раз спросил про меня на вахте, ему ответствовали: "Никаких русских писателей тут не живёт. Одни евреи".

А когда он, уже зная трехзначный номер моего обиталища, пришел во второй раз, причем не один, а с друзьями и ящиком пива, обалдевшие евреи закричали, подхватив за кем-то первым (в любом идиотизме всегда есть кто-то первый, только его потом не найти), заскандировали всем двором: "Ура! Немцы идут!"

Я усмехнулась, наблюдая эту картину из своего окна: в 41-м вы бы так не ордали.

Что поделаешь, совсем одичали соотечественники от скуки.

Потому что все пакетики уже перепробовали, если это вообще возможно, и жизнь начала терять смысл. Хотя и не перестали заглядывать в чужие сумки, ощупывать глазами беременные продуктами полиэтиленовые мешки — что ж это там такое, выпуклое, не иначе, как что-то из-под прилавка.

Еще одна примета, по которой можно безошибочно узнать советского человека: он смотрит вам не в глаза, а сначала в кошелку. Причем, что самое смешное и грустное, произвольно, нечаянно, так же, как немецкая дамочка — на ярлычок вашего макинтоша...

...Особенно грустно становится, когда советский человек хочет сделать что-то хорошее, приятное всем, а именно он этого иногда и хочет. Потому что не советскому человеку на «всех» просто плевать, он о других не думает, тем более, обо «всех»...

Взятая на службу в хайм жительница хайма решила, видимо, как-то разнообразить жизнь (чуть не написалось: отдыхающих...) проживающих, взбрело ей в голову, под ее еще не распушенную и не подстриженную тогда партийную «кичку», порадовать своих вчерашних сожителей...

И однажды возле решетки появилась, что бы вы думали, ...стенная газета. Настоящая, размалеванная цветочками и солнышками, словом, всё, как полагается... Правда, заметок о передовиках чистки зубов и отстающих по общественной швабре в ней не было, содержание носило исключительно праздничный характер: одна жилица поздравлялась от имени всего дружного коллектива хайма с пятидесятилетием. (О котором она вовсе не собиралась сообщать всему «дружному коллективу»...)

Ну, ладно, как говорится, посмеялись — проехали, schon vorbei...

Но наследующее утро — еще один именинник, потом — еще, да к тому же, с фотографиями из личных дел, сданных в администрацию, как вы понимаете, совсем не для этого...

Нас в хайме скопилось уже только чуть меньше, чем дней в году, вот и получалось, что почти каждый день — чей-то день рождения...

Люди начали возмущаться, особенно громко возмущались, конечно, те, кто сам рвался в лидеры «дружного коллектива» и завидовал доставшемуся ей рабочему месту...

А вот один мужик, крепкий, жилистый, и к тому же смекалистый, сказал во всеуслышание возле очередного выпуска — назовем её так — «Хаймовской правды»:

- Ну чего раскудахтались? Кто как, а я лично — доволен: каждый день знаю, куда пойти за стопариком... Кто у нас там сегодня? А, фрау Распушанская, - а это в каком бараке?..

...Никогда, ни при каких обстоятельствах не знакомлюсь на улице. Потому что умные люди идут по своим делам и ни к кому по дороге не вяжутся. Но у немцев почему-то не считается зазорным, напрмер, с места в убане влезть в чужой разговор, да еще со своим вечно свербящим, говоря по-немецки, горящем на языке: „Warum sind Sie nach Deutschland gekommen?“...

В этот раз я была не одна, и знакомство, к сожалению состоялось...

Весьма уважаемая супружеская чета забальзаковского возраста пожаловала к нам, на Фиевазен...

Он, заведующий отделом одной из крупнейших фирм, опасно озирался по сторонам и не вставал со стула, очевидно, из экологических побуждений: чтоб не раздавить какое-нибудь из семейств путешествующих по полу тараканов...

Она же, представившись как большая любительница России, довольно быстро наклюкалась, болтала какие-то дамские глупости, которые лет сорок тому могли кому-то показаться милыми, а потом почувствовав себя и вовсе свободно, видимо, как в любимой ею России, завела на весь хайм «Калинку-малинку». Разумеется, дальше первого

куплета ни одна из ее многочисленных попыток не прорвалась, но мне с лихвой хватило и этого...

- Душа, - кричит, - у меня тут с вами отходит...

Нашла – думаю – отхожее место...

Мы себя у вас в гостях так не вели, сидели чин-чинарем, отвечали почтительно на вопросы, а что жилище у нас к свинству располагает, так это – ваша вина... Могли бы и сообщить немецкой общественности, в каких условиях люди живут, или хотя бы помочь снять квартиру...

Немецкие женщины, видимо, не знают одного правила, лежащего в основе всемирного, так сказать, тяготения: глупой может быть только очаровательная девушка, - тогда и глупость её кажется очаровательной...

А если к вам в комнату вваливается с громкими поцелуями влажная от климакса и плавящегося июля возбужденная бегемотица и начинает с порога рассказывать немецко-соседские сплетни, тут впору самой трубно завывать...

«Представляете, представляете, я слышала, я слышала, что русские проститутки... самые развратные...»

Интересно было бы знать, что она понимает под «развратной проституткой»?..

Ту, которая трудится, не щадя живота своего?.. Или дамочка полагает, что в пуффе должна работать стыдливо краснеющая Гретхен... (А в русском борделе – соответственно – скромная тургеневская девушка...)

...Ну вот, и еще одной приятельницей стало меньше...

Жил-был в еврейской хитроумной мишпухе Иванушка-дурачок. Славный наивный малый, над которым все смеялись, а у него хватало ума ни на кого не обижаться...

Однажды гнал он на лихом своем велосипеде, да так, что памятник хаймовской культуры, статую несвободы – решетку нашу железную, чуть было не снес... Потому что спасался, как выяснилось, от полиции... Но форменные мальчишки – тоже не промах, тут как тут, на гнедой машине настигли...

- А я что, - говорит он им, потирая коленку, - я – ничего...

- А если ничего, так почему от нас удираешь?

- А чего вы за мной гонитесь?

- А того, что вечером надо задний фонарь включать..

- А... А я думал, что я чего натворил... А вы только из-за фонаря?

- Из-за фонаря. Включай в следующий раз!

- Ну, какой уж теперь следующий раз... - И пнул кроссовкой сплюснутые останки велосипеда...

А потом Иванушка экзамены на языковых курсах сдавал. Явился при пиджаке, рубаха белая, чистая – смотреть больно, написал на доске их трех слов предложение, да ошибся самую малость. Учитель, чтобы помочь ему, на мысль навести, говорит:

- Ты подумай, какой тут казус, и всё будет в порядке...

Иванушка думал-думал, мел в пальцах искрошил, да как бабахнет:

- Никакого казуса тут нет!

«Падеж, – подсказывают ему по-русски, – падеж какой...»

- Падеж, - отвечает тоже по-русски, - именительный, а казуса, - добавляет по-немецки для комиссии, - никакого нет, по-моему, все нормально...

Но это только присказка... а сказка – еще сообразительней и выразительней, потому что наивностью Иванушки все, кому делать было нечего, пользовались, а делать было нечего всем...

Вот кто-то и надоумил его, паренька одинокого, но в самом, как говорится, соку, пойти в маленькое неподалеку от нас пикантное заведение, сказав, что для получателей социальной помощи там предусмотрена скидка, надо только документы с собой иметь...

- И вот прихожу я, - рассказывает Иванушка через час после неслучившегося, - и прошу позвать мне директора. А девица сразу смеется и кричит «Пуффмутер, пуффмутер, тут молодой человек к Вам»... А я говорю: «Нет, мутер не нужно, лучше бы кого помоложе»... «Так в чем же проблема?» – «Вот, - говорю, - мой социалпас, это талончики на бассейн, это – на зоопарк, а вот здесь, мне сказали, под буквой «Б» – вы можете оторвать, чтоб за полцены...»

Часто еще провоцировали Иванушку на этот рассказ, долго еще выступал он во дворе на «бис» с этой программой... Пока не женился. И женился, заметьте, за полную стоимость: жену себе из родной деревни привез, кормит-поит-обуваает, потому что в отличие от других быстро умных дурака не валяет, а честно вкалывает. Словом, стали они жить-поживать, видеотехнику наживать, и дай-то Бог...

Что меня больше всего поразило в Германии, так это, стыдно сказать, первое посещение зубного врача, когда я, лёжа вниз головой в течение часа, никакой даже тени боли при операции не ощутила. Он же всё время беспокоился, спрашивая о том, что я чувствую, и чувствую ли я что вообще... (Привык к швабским капризницам...) Отвечала я, понятно, только признательными щенячьими глазами, так как рот был забит щипцами, сверлом, его рукой и какими-то еще мне неизвестными инструментами... Когда операция закончилась, он повторил еще раз свой риторический до этого момента вопрос, переводимый на русский и как «что Вы сейчас испытываете?..» И пошатнулся от хохота, расплескав стаканчик с приготовленным для меня полосканием, так как услышал умиротворенное: «Оргазмус»... Между тем шутка была настолько близка к истине, насколько она вообще может быть к ней близка... Меня по сей

день обуревают восторг в кресле у моего зубного, и еще у моего гинеколога (притяжательное местоимение подчеркиваю я неслучайно, потому что «не мой» врач вполне может сделать с меня целый фотоальбом дорогих рентгеновских снимков, а я не настолько тщеславна, чтобы все это коллекционировать...), беспокоить здесь может только одна «головная боль»: оплатит ли все полученные тобой удовольствия больничная касса?.. Но если бы самый искусный гинеколог, будь он даже твоим самым лучшим другом, , в этом сомневался, он бы не влез в твои недомогания, что называется, с головой... Поэтому, если ты, раскинувшись в кресле, (не хватает разве что сигареты...), видишь, как сосредоточенно торчат промеж твоих ног его розовые уши, значит, уже все в порядке, «schon erledigt»; это капитализм...

Только вот зачем я и об этом рассказываю?

Не иначе как – уличаю себя – позарилась - где-то там, в одной из полутемных пещер своей возвышенно-родниковой души, где шуршат купюрами крылья летучих мышей, - польстилась на лавры самого читаемого в мире писателя, Эдички-свет-Лимонова?... И совершенно напрасно. Эти листики не для твоей насупленной головы... Пошляком нужно родиться, так же как горьким пьяницей или поэтом... Изменив же призванию своему, только потеряешь читателя, карабкавшегося с тобой в одной связке к сиянию вершин (вот он уже, я вижу, и вижу уж не в первый раз, пытается отстегнуть свой карабин...), а другой читатель, которого много, как бабы Вали, за тобой всё равно не пойдёт: ему гинекологию без социологии подавай, одну мясистую розу, безо всяких там шипов и вырезных листиков темно-зеленого стиля...

Так что давайте договоримся: этой записи в моем дневнике не было...

...Влетает... кто бы вы думали? Правильно, Костик, потому что именно он всегда влетает, но в коридор, а перед комнатой медлит, чтобы и отдышаться и постучать, его так родители научили — ждать, пока пригласят войти, и этим он отличается от основного населения хайма. Он возбужден, кажется, нашел халтуру, захлебывается словами: "Не знаю, на каком я сейчас свете, куча дел..."

и т. п.

Вот он, родной наш, нежно любимый менталитет: все дела свалены в кучу, человек копошится в ней, в этой куче, рыпается, пытаюсь выбраться,— и снова проваливается. Потому что, пока он выкарабкивался, на него навалилась еще одна куча дел, и так без конца... В немецком языке такое выражение невозможно. Оно бы не пришло ни в одну немецкую голову, на полгода вперед знающую, когда и на чьей подушке она будет предаваться страстям. Я не знаю, какая из этих двух крайностей ужасней...

...И еще несколько слов о менталитете. Иногда вдруг кажется, что встречаешь в чужой стране старых своих знакомых, только зовут их иначе и говорят они на другом языке, а кроме этого — всё совпадает. Я даже думаю, что и у меня есть везде по двойнику: и во Франции, и в Гренландии, и в каком-нибудь африканском племени НИ БУМ БУМ...

Посудите сами. Был у меня в прошлой, ленинградской жизни приятель, который огорчал свою лучшую половину тем, что ни за что не хотел иметь детей. О себе он говорил при этом в третьем лице и с нескрываемой нежностью.

— Сейчас кто у нас мяску кушает? — спрашивал он и сам же отвечал: — Сережа кушает мяску... А потом что, - он будет?..

И, заранее возмущаясь такой перспективой, пододвигал к себе поближе тарелку.

А здесь сижу я в гостях у одного своего немецкого, как их называет мой муж, хахаля, который, как и Сережа, который кушает мяску, тоже никогда не хотел иметь детей. "Почему?" — спрашиваю.

— Потому что,— отвечает,— я всё подсчитал, налог за бездетность, конечно, большой, но ребенок может съесть еще больше.

И пододвигает к себе поближе тарелку.

Оба они уже плешивые, и оба кушают в основном бананы, как наши далекие родственники.

Потому что мяску им никто не готовит. Да и не по зубам уже...

...Мне кажется и не нравится, что в местах скопления так называемых контингентных беженцев возникает какой-то новый контингентно-беженский диалект, основанный на приживлении русских черенков к немецким корням и уже проникший в русскоязычную прессу Германии.

Юные натуралисты! Изобретательные мичуринцы!

Будьте осторожны при разведении новых культур — мы можем получить уродливые и безвкусные плоды.

Представьте себе, что сказали бы читатели в России, увидев среди вроде бы русского текста "хабать", "шпрехать", "кукать", "дрюкать" унд зо вайтер...

Они этого "фрессать" не станут. (А немцы тем более.)

...Он представился моим коллегой, хотя выговаривал это слово как-то странно, как-то на «кал»...

Графоманом назвать его было нельзя, потому что этот, хоть и не ахти какой титул, предполагает некоторую усредненную грамотность, и даже много лет способствовал ее развитию не только в самой читающей, но и в самой, судя по редакционным корзинам, пишущей стране...

Ему же, не знаю как, но удалось сохранить то перевозданное состояние мозга, когда даже алфавит использовался не полностью, видимо, он дошел до буквы «Мы» или «Лы». Правда, у него была одна книжка, Пушкина, но он сразу меня предупредил, что читать её не читал и не собирается, потому что это может повредить его собственному таланту. Привез на память о Казахстане...

Писал он подряд, без рифм, без ритма, без знаков препинания, доходя почти до модернизма, если бы хоть слово «мама» было у него без ошибок... Продираясь сквозь дебри его, к тому же, дремучего почерка, окончательно одурев, я вдруг нашла две строчки, вернее, подобие строчек, которые показались мне на этом фоне воистину гениальными:

«И наконец ана вскачила и гостью груба закричала сними штаны сваи падлец...»

Я пахвалила и – тем самым – нечаянно возвела его в графоманы. А графоманов, как известно, хвалить нельзя...

Он стал приходить через день, декламировал вслух всё новые и новые произведения и, уже не дожидаясь моих похвал, перешел на самообслуживание: рассказывал мне, как его хвалят другие:

- Одна ученая даже сказала: «Как вы в душу глубоко залазите, я так не могу...»

Словом, мне, не ученой, оставалось только пожелать ему «залазить» еще глубже и признаться, что и я так не могу...

Единственное, что мне удалось: это не пустить его через год на сцену на моем первом большом вечере. Хотя он и сказал, что с кем с кем, а со мной вместе выступать согласен...

У нас появились знакомые, кто бы вы думали... немецкие коммунисты. Очень симпатичные, признаться, ребята, хотя никого, кроме Карла Маркса, читать не хотели из принципиальных соображений. Последнего же декламировали с упоением, как стихи. Особенно жена, - видимо, на женщин такой тип развратителей: фанатичных, темпераментных, до самых глаз бородатых действует особенно сильно. Не зря же красавица Женни когда-то купилась, а потом, с детьми, было уже поздно, одна отрада – с Энгельсом пошущукаться...

С коммунистами мы сошлись во мнении, что капитализм – это не очень хорошо, а темное пиво – наоборот – очень... После шестой бутылки он сказал, что из меня можно сделать настоящую коммунистку... И мы взялись за седьмую. А настоящая коммунистка тем временем обиделась и ушла, не прощаясь, без него на митинг. Боюсь, что этого он ей уже не простит...

Костик решил объявить тараканам последний и решительный бой. Он отправился с пособием в аптеку, готовый отдать всё, что получил, за хорошее средство против этих никого не кусающих, но катастрофически размножающихся жильцов хайма. Местная эпидемиологическая станция с ними не справилась: отравилась только одна жалобная собачка, а они просто исчезли на две недели и вернулись домой посвежевшие, бодрые, с новым приплодом...

В первой аптеке не повезло. Потому что Костик по рассеянности, или от волнения, или скорее по своим выдающимся способностям влипнуть в истории попросил отраву не против «шабен», а «теген швабен», то есть против коренных жителей нашей гостеприимной земли. И, увидев себя в зеркальных очках аптекаря, вылетел за дверь, не дожидаясь ответа. (Или полиции.)

...Наконец-то впервые меня не бросило в ярость от вопроса: «Почему вы сюда приехали?» Так как задавший его, во-первых, долго краснел перед тем, как выговорить эту хамскую тутошнюю банальность, во-вторых, он лично, в этом можно было не сомневаться, радовался, что лично я приехала именно сюда, а не, допустим, в Африку, а в-третьих, после вопросительного знака, прозвучавшего как восклицательный, фраза закруглилась таким вот неожиданным образом: «Из Германии талантливые и умные люди всегда уезжали».

Мне ничего не оставалось, как, польстив, но совершенно искренне возразить в том смысле, что он-то вот не уехал.

Последовала грустная, какая-то беспомощно-мечтательная улыбка, будто вослед уходящему поезду.

А я поймала себя на мысли, что мы с моим немецким товарищем идем по заросшим заржавленным рельсам по Viehwäsen, как когда-то шли с Сережей Довлатовым по Чугунной...

...Как ребенок норовит в своей кроватке принять форму эмбриона, так человек, можно сказать, заново родившийся в другой стране, постепенно окружает себя все тем же и все теми же, что и на своей печальной родине. Во всяком случае, я не могу себе представить, что моими друзьями станут перепродавалы машин или вчерашние партийцы, даже если бы, кроме них, вокруг меня вообще никого не было.

А вот что Татьяна Григорьевна Гнедич нашла себе в лагере (другом, сталинском) мужа-сантехника и научила его ругаться «Феб с ним», это я представляю себе весьма хорошо и отчетливо...

В городской библиотеке моя рука набрела случайно на учебник русского языка для немцев. Читала я его ночь напролет, не давая спать домочадцам, потому что то и дело содрогалась от хохота. Выражение «живой ребенок», например, переводилось правильно, в том смысле, что «играющий» («подвижный» — это они уже не догадались), но зато «живой дедушка» разъяснялось как «Наш дедушка все еще жив». С оттенком сожаления очень бы вязалось

дополнить определением “богатый дедушка”, видимо, таков и был ход мысли переводчика...

...Представьте себе такую картину: вас вызывают в профком и спрашивают: не нужно ли вам что-либо из мебели, не пришла ли в негодность ваша одежда?

Наверное, в такой невероятной ситуации советский человек тут же бы и родил, причем независимо от пола. А в Германии это повседневная реальность: два раза в году каждый нуждающийся получает от социоламта деньги на приобретение новой одежды.

Вас приглашает социальный работник, в данном случае интеллигентного вида мужчина, кладет перед собой лист бумаги и... приступает к допросу:

— Трусы есть? Сколько?.. Так, записываем... Ночная рубашка? Носки?..— и так далее, хотя... куда уж далее...

И такое вдруг чувство, будто он в вашей корзине с грязным бельем роется, пересматривает все, как кино...

Ходят слухи, что социальные деньги в Германии (и это неудивительно, вот еще и югославов приняла эта маленькая страна) подходят к концу, и “Bekleidungs-geld” выплачивать перестанут. А я почему-то думаю, что выплату не отменят, но введут процедуру личной проверки нижнего белья на каждом... Это к тому же позволит создать новые рабочие места “проверяющих наличие и состояние трусов”.

Пришла немецкая, как она себя называет, подруга. Она совершенно не понимает, что понятие дружбы предполагает и некие общие представления о том, что смешно и что трагично...

Известного анекдота о Гегеле, ответившем студенту, что если его, профессора Гегеля, теория расходится с фактами, то тем хуже для фактов, она не осилила. И долго объясняла мне, почему это неверно.

Зато очень расстроилась, когда на ее рассказ о поездке в Польшу и раздаче там своих платьев, притом не просто так, а заставляя каждую женщину при ней примерить, чтобы не брали для продажи, я засмеялась...

Попытка же втолковать ей, что она дважды оскорбила облагодетельствованных ею персон: и подозрением, и самой процедурой — привела только к вспыхнувшему от гнева щекам и мстительному ответу, что вы, мол, сначала без ошибок говорить научитесь, а потом уже будете себя с немцами сравнивать...

Патриотизм всегда посещает её также некстати, как она — меня...

Меня беспокоит странная, согласитесь, но уже многократно проверенная догадка, что дружба с немцем означает не что иное, как его любезное, выданное тебе разрешение самозабвенно любить его, немца, и бесконечно восхищаться им...

Твои же успехи им (или – ей) чаще всего не прощаются...

Немцы не доверяют никому. Это касается и учреждений, и рынка, и личной жизни. Может быть, потому, что они почти всегда лгут... Нет, не в мелочах обманывают, этому им в хитроумной России еще «учиться, учиться и учиться» — все равно никогда не осенит их, например, рисовую крупу в томате сварить и под видом красной икры за час целый грузовик распродать, как это случилось однажды возле моей бывшей работы... За такое, мне кажется, не тюрьма, а орден Остапа Бендера полагается, потому что здесь не обошлось без специфического, но все же — таланта... Немцы же врут скучно, причем, в главном, а именно: в своих помыслах, скрывающих умысел...

Вся реклама, например, построена на том, что добрейшие, надо полагать, бескорыстнейшие люди хотят вам помочь... Разумеется, только заплатите им, и чем больше заплатите — тем нежнее они будут о вас заботиться...

Зато в цифрах в Германии рекомендуется соблюдать точность. Здесь не поверят, если Вы скажете, что не обратили внимания на количество пфеннингов, когда покупали духи любимой...

Я, например, уже знаю, как я докажу свое алиби, если мне придет в голову ограбить банк: во-первых, это была шутка, посмотрите, пистолет — из Дома игрушек, только что купила, вот чек, 39 ДМ 99 ПФ, во-вторых, это было так: ровно в 13 часов 34 минуты иду я... Думаю, что этого будет достаточно... Именно подозрительных и фальшивых людей так легко обмануть, если это, действительно, хочется...

...Наконец подвернулась и мне возможность подработать “по-черному”.

Те евреи, которые еще не живут в Германии — и чтоб им всем, как говорится, так жить,— думают, что речь идет только о простой, неквалифицированной работе, как говорили в России, “работе для негров”. Странные представления были в стране, где пение “Интернационала” сопровождалось вдохновенным вставанием. Работа в Германии — это аристократический род занятий, а по-черному — заячье счастье бедняка, какого бы цвета ни была его дубленая кожа. По-черному — это значит прошмыгнуть, как черная кошка в темноте, спрятавшись от налогов. Вот что такое — “по-черному”...

Мое же “по-черному” предполагало ослепительно белый халат булочной продавщицы.

Первым же посетителем, которому я начала, как меня научили, отдаваться улыбкой, когда он еще только взялся за ручку стеклянной двери с той стороны, оказался “уж”, директор моего социоламта. Получив из моих дрожащих рук

две несколько раз уроненные на пол булочки с маком, очевидно, к первому рабочему завтраку, он поздравил меня с началом трудовой деятельности, то есть с тем радостным, как он надеялся, фактом, что я наконец слезу с его, ужа, шеи...

Только окончила я лепетать ему уже в уходящую извивающуюся спину, что это, мол, пока бесплатная практика, как перед моей витринкой-трибункой, на которой я не имела понятия, что лежит, потому что названия репертура... простите, товара и ценники еще не принесли, возникла старушка. Миленькая такая, чистенькая, славная швабская бабушка, с аккуратно подпиленными коготками, один из которых указал на пышный хлебный кирпичик.

Но это было не все. Она попросила его разрезать. Лихорадочно соображая, как это надо делать, вдоль или поперек, и есть ли тут вообще нож — мне никто ничего накануне не показал,— я вдруг нашла спасительный выход:

— Смотрите, вот половинка, именно этот хлеб, который вам нравится.

— Нет, я возьму тот, и целиком.

— Зачем же тогда половинить?

— Я хочу видеть, как он выглядит изнутри.

Вот тут у меня и вырвалось:

— Лучше, чем мы с вами, хотя и того же возраста...

По-немецки этот диалог прозвучал еще более восхитительно, это был мой бенефис, последние гастроли все равно уже погорелого театра.

Визит одной знакомой литературной дамы, живущей в другом конце города, но именно в этот день оказавшейся именно здесь и внезапно проголодавшей, уже ничего добавить не мог. Я "отпустила" ей, как выражались в России, брецель, сразу же отпустила, не тянула к себе обратно, и выслушала ее кисло-сладкое "похвально, весьма похвально", прочтя по брезгливо поджатым губам, что больше мне в ее гобеленовом салоне делать нечего, могу даже не беспокоиться...

А я и не беспокоилась. Ну и черт с ней и с ними со всеми.

Вместо обещанного полтинника мне дали по окончании спектакля гонорар в виде мешка позавчерашних выпечных изделий, но я-то знала, что и этого слишком много.

Словом, еще одна басня про сапожника и пирожника.

Видимо, каждый должен заниматься своим делом...

...На бирже труда, в арбайтсамте, мне выдали довольно странное разрешение на работу.

Мой немецкий друг, который никогда не врет, и поэтому с ним так легко, и можно тоже не лгать, и ничего, в том числе и себя самое, не приукрашивать, потому что нас обоих интересует суть, а не как она выглядит, вдруг посоветовал мне угтайть мою российскую трудовую книжку с весьма романтическими после удаления меня из советской журналистики (на мой взгляд, так замечательными) профессиями: уборщицы и коচেгаара...

Ничего мне не объяснив — да и что я тогда могла понять,— густо краснея, велел предъявить только билет Союза писателей.

Теперь-то я знаю, как он был прав, потому что меня бы уже давно послали на курсы переобучения на швабскую, непревзойденную, виртуозную "Putzfrau" и мне было бы некогда писать мои русские и немецкие книжки, и эти записки тоже, и не то что ни один большой зал, но ни одна распоследняя забегаловка не пригласила бы меня с литературным концертом...

В результате же не слишком ожесточенной, даже и не борьбы вовсе, а скорее игры в выяснение истины я получила документ со всеми необходимыми печатями, удостоверяющий, что мне разрешено на территории Германии работать... писателем.

Что и делаю изо всех сил.

Ну, если мне, конечно, предложат в арбайтсамте твердое вакантное место старика Гёте, то я серьезно подумаю...

Люблю читать объявления. Всегда узнаешь что-то новое, необыкновенное, особенно здесь, в хайме...

"Вы ищите квартиру? Мы вам поможем!

Обращаться: барак № 2, комната 293, койка вторая, сверху".

Очевидно, сам маклер живет здесь из простой человеческой любви к нарам.

Или еще:

"Если горет" — так назывались переведенные кем-то для нас правила пожарной безопасности. Далее было сказано, чтобы в лифт (где они его тут видели, лифт, может, в подвале?) не "пхались во избежания застрывания и згарания", "соседов пердупредили", "паники не вспыхивали", а "звоняли" по такому-то телефону...

Вот так, очень даже замечательная инструкция, особенно если учесть, что для русских филологов работы не находится.

Впрочем, даже правильно написанные инструкции звучат обычно не лучше. Мне никогда не постичь бюрократическую письменность, причем независимо от языка: что готика, что кириллица — один, показывающий рожки восклицательных знаков, черт, который, как известно, всегда был интернационалистом.

Надо бы предложить проект премии за самую понятную немецкую инструкцию, вдруг пройдет? Кое-какие из моих проектов уже сбываются...

Костику с Таней удалось наконец снять квартиру. В деревне, на последней, возле самого уже темно-зеленого лесного гребешка, улице, в последнем, но так же, как все первые, обгераненном домике, на последнем — но к чердаку им было не привыкать — этаже. Чудо состоялось, потому что они напели хозяину, что не эмигранты, а приехали по студенческому обмену. Нужно было, наверно, сказать, что по обмену шпионами, тогда бы, глядишь, и более приличные апартаменты нашлись, и, глядишь, в самом сердце нашего увлекательного города. Потому что все знают, что у кого-у кого, а у шпионов денежки водятся, не то что у неработающих инженеров, к тому же приехавших из такой ненадежной страны...

Но Таня, справив новоселье, вместо того, чтобы жить да радоваться, опасаясь только визита хозяина (потому что посреди кухни, на новеньком светло-медовом линолеуме уже лежал роскошный коричневый блин — отпечаток горячей сковородки), стала вдруг, возвращаясь домой из города, нервничать и вести себя странно.

Всю получасовую дорогу от станции она несла купленные продукты в крепком, глубоком полиэтиленовом мешке "Альди", а возле дома вдруг ныряла в лесок и спешно, а иногда и безуспешно пыталась переложить альдивскую снесь в тоненький прозрачный пакет дорогой фирмы...

Не знаю, нужны ли были такие ухищрения, но соседи видели, где она (якобы) отоваривается, и через полгода дошло до того, что одна соседка даже кивнула при встрече...

А я, чтобы круто повернуть свою жизнь, поехала на несколько дней в Испанию. Здесь так и говорят: "Денег на отпуск нет, придется в Испанию..." Услышать бы такое лет десять назад в городе Ленина, в нашей несравненной, теперь я говорю об этом уверенно, Северной Пальмире...

Когда автобус притормозил у первого — французского — шлагбаума (еще одно типично немецкое русское слово — помните: "...Или в лоб шлагбаум влепит непроторный инвалид"), половина пассажиров с радостными воплями вскочила со своих мест, и я сразу поняла, хотя в воплях не было слышно ни одного русского слова, они носили исключительно утробно-пещерный характер, что это мои земляки...

Признаться, и у меня внутри что-то и по сей день замирает при пересечении государственных границ, хотя коллекции фотографий, сделанных моим стареньким безотказным "Зенитом 3М" (подарок папы за поступление в университет), уже начали вытеснять из стеллажей мои многотомные рукописи.

Ну неужели, неужели это так просто: та елка — Танненбаум, а вон та, через несколько шагов,— уже с артиклем "ля"... А нам всю жизнь морочили голову, что обе они так далеко, получалось, что и вовсе недостижимы. Папа мой так и умер с твердой уверенностью, что Берлин, до которого он когда-то дошел пешком, перенесен в другую галактику, куда на поезде не доедешь, на простом самолете не долетишь...

...Что мне еще запомнилось из того волнующего первого момента, так это два неумышленно метафорических памятника, по ту и другую сторону пограничной будки: над Францией полыхал, подмигивая окантовкой из маленьких огоньков, темный загадочный женский силуэт, а за спиной остался как бы символизирующий Германию монумент... сардельке: толстое, будто беременный полумесяц, на который натянут фильдеперсовый — пятидесятых годов — чулок, покрашенное в коричневый цвет чучело колбасы, водруженное на мраморный пьедестал.

А вокруг них шумел безграничный лес, в котором паслась всегда поднятая, чисто символическая "зебра" шлагбаума...

Заехав в "Каритас", одно из многочисленных здесь благотворительных обществ, чтобы подыскать наконец плотную портьеру и не ощущать у себя в гостях всех жильцов из дома напротив, я остолбенела еще на пороге: дама, вся с головы до ног окутанная норковыми мехами, с недовольной миной рылась в коробке для поношенного белья и, увидев меня, попыталась выразить свое возмущение: дескать, ничего здесь хорошего, в этом "Каритасе", нет, и куда все девается, и как с этими безобразиями покончить...

Говорила она по-немецки с характерным руководящим акцентом, что, как и шуба, особенно весной, выдавало именно наш, и никакой другой, контингент, потому что только советские евреи приходят просить милостыню в мехах, да еще и с таким видом, как будто они инспектируют дающего и, ежели что не так, могут снять его с его дающей должности...

Я сделала вид, что не понимаю ни одного из двух предложенных ею языков, что я из Турции или откуда угодно, и она, поджав губы, отошла к стойке с куртками и пальто.

Бедная женщина, вряд ли ей повезет и там найти что-нибудь подходящее...

...Одна дама очень хотела со мной подружиться. Что-то подсказывало ей, что, возможно, я стану когда-то местной достопримечательностью, а она для своей карьеры избрала все направления сразу: и религию, и политику, и культуру, вот только место у решетки, в окошечке администрации хайма, уже уплыло... Но это не страшно, она так и говорила, что, мол, невелика честь, а со мной, отчасти даже искренне, надобилось ей завязать отношения...

А как?

Зазовет меня на крылечко, то есть, на единственную ступеньку, отделяющую дом от асфальта, где она всегда легонько покуривала (я-то курю везде, где только нет грудных младенцев), и, мечтательно глядя ввысь, то есть, не в небо, а, как бы сквозь него, на высоту своего прежнего положения, начинает:

- Вот лежу я однажды в больнице четвертого управления и так мне Цветаеву почитать захотелось, такой вдруг

каприз – ну, как беременным клубники иногда хочется...

Да, клубнички вам, таким, всегда хочется, представляю, что бы сказала Марина Ивановна, услышав про такие «капризы», наверное бы, мокрым полотенцем – по лицу, и была бы совершенно права...

Как им, охотникам за привилегиями, неимется совместить несовместимое: четвертое управление, платье – «последний крик моды» и... искусство в удавке... (в качестве бижутерии...)

«Мы с Цветаевой выдержали до 49-ти – Так почему-то думалось мне тогда, и этот случайно поставленный в планах срок, еще не прошел...

Переживанья горькие свои
пережевав, запить глотком свободы...
Сияют храмы... И кряхтят заводы...
И муравьи возводят муравьи...
Кто петь рожден, поет не свысока,
но с высоты... Так набожно. Так надо.
Акустика клубящегося сада
не имеет и не стерпит потолка...
Как радостно глаголить на родном
наречии... вселенское изгойство.
А тут – как пробку вышибли из горла,
и это – рай. – Запомни, астроном!
Все карты биты. Мир угрюм и пуст.
А дальше – космос: черная чужбина...
«...Но если по дороге куст
встает, особенно рябина...»
Цитата. Кровь из первых уст.
И прошептать: - «Ave Марина...»

...И коли уж автор незадолго до — отлистните десяток страниц назад — так сурово обошелся с немецким менталитетом, то грешно ему не попытаться обобщить и кое-что насчет своих дражайших (по обыкновению, дрожащих от страха) соотечественников.

Потому что местечковая ментальность, хотя, видимо, и не претерпела серьезных изменений со времен Шолом-Алейхема, но не стала от этого легче переносимой.

Во всяком случае, от налипшего на уши акцента её хочется с головой, как в Волгу,— в глубины Толстого и Достоевского, Тургенева и Гончарова...

Теперь, когда все они, оберегая картонными переплетами, как надежными шлюзами, источники души и скорби моей, стоят наконец друг за другом в моем немецкой резной работы книжном шкафу, я могу уже вполне спокойно и внятно порассуждать и о чем-то другом, в частности, о диковинном еврейском народе...

...Встречаются иногда стройноногие, кофейнокожие, печальноглазые, о которых и хочется, и не стыдно сказать: “Дети Израилевы”. Но этот генотип нации в России практически не сохранился. Такое впечатление, что иудеи вымерли — остались евреи... Маленькие, круглопузенькие, суетливые и беспардонные...

Помню, встречали мы как-то в Ленинграде поезд из Одессы с нашей любимой тетей, так гул именно этого состава, помноженный на его внутреннюю крикливость, заглушал все остальные задолго до его прибытия на перрон...

Вообще один децибел явно мал как единица измерения шума, который могут надеть евреи. Это касается и науки, и войны, и просто разборок в очередях за яйцами или туалетной бумагой. Впрочем, в очереди, заметив выдающийся нос (этого достижения у евреев никто никогда не отнимал), ему быстро давали понять, на какой морде он вырос и куда ему соответственно надо ехать. В то время как все остальные желающие могли скандалить в свое удовольствие, посылая друг друга по гораздо более близкому и не такому обидному адресу.

Очевидно, именно этот вид расовой дискриминации ощущался активными участниками борьбы за товары широкого потребления как особенно оскорбительный, и не он ли в конечном счете привел русских евреев к окончательному Исходу — в новую, так сказать, всесоюзную здравницу — солнечный Израиль...

Сначала уезжали отдельные отщепенцы, которым возжелалось свободы, а потом уже и все — поголовно — покупатели.

Причем именно они, так долго собиравшиеся, всё взвешивавшие, пробовавшие долларовую бумажку, как говорится, на зуб (и не простой, а золотой), в конечном счете, как показывает история, слишком поторопились. Прилавки России наконец-то изобилия, напоминая фламандские картины в посещаемом заморскими гостями нашего города Эрмитаже, а эти дуралеи отняли у себя сказку о золотой рыбке: мечту о царстве-государстве, где их ждут с распростертыми объятиями...

Теперь вот летят панические конверты через все континенты: там — вэлфер урезают, здесь — хильфу, а на исторической Родине в “корзину” падают последние крохи, с воробьем не поделишься, а и есть ли там наши

вездесущие расторопные попрыгунчики, похоже, что одни пластающиеся над зазевавшейся жертвой коршуны, как и везде.

В сущности, не так уж и стыдно быть простым и незамысловатым потребителем-покупателем. Именно для него производят во всем мире всякую всячину, тысячи сортов хлеба и мыла, в частности, вот это, которое мне подарили,— в виде рафаэлевского ангела, глядя на которого невольно вспоминаешь стишок из счастливого детства: “Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой...” —и фотографию еще не терроризирующего Россию кроткого Вовочки.

Пусть себе покупают, пусть моются себе и нам на здоровье, Рафаэлю уже все равно в его далекой, окрашенной вечной синькой небес, последней Италии, лишь бы из них самих мыла не наварили. Рецепт-то наверняка сохранился, лежит у кого-нибудь под подушкой с тщательно вышитыми цветочками или кошечками. И будет лежать до поры...

Под гобеленами, под одеялами, за приспущенными плюшевыми шторами — зло... “Пусть на улице убивают, лишь бы меня не трогали...” Но ведь если все будут рассуждать именно так, никто никого и не тронет... Слава обывателю, предотвратившему третью мировую войну!

А все-таки она будет. И начнут ее опять скорее всего именно они, немцы. Как так? А так... Вялотекущий реваншизм как одна из форм вялотекущей шизофрении. Потому что в глубине своей общенародной души они так и не смирились с поражением. Потому что в конце концов даже святому осточертеет отдавать долги уже прапраправнукам жертв своих прапрапращуров. И тогда достанет искры, чтобы из нее возгорелось пламя... Весь народ придет в состояние коллективного аффекта, сообщающего восторг групповому изнасилованию. И тогда будет уже даже не война, а свирепое убийство всех всеми, потому что каждый второй окажется к тому времени безработным, а в магазинах останутся, как бывало у нас, только соевые конфеты и резиновые сапоги. Они не вынесут этого. Они привыкли баловать своё холеное тело, спать на водяных, плавно покачивающих, матрасах, ступать в бархатных шлепанцах по полу с внутренним подогревом, пересчитывать семечки витаминов в каждом огурчике... Они послушны любой палке, но не идее. Голодать ради идеи они не станут. И тогда кто виноват? Чужие...

Все сюрпризы поддаются примерному прогнозированию...

Тем более что немцы — очень мужественные люди.

Оставшись без глаза от бенгальской искры на карнавале, немец так дотошно, так тщательно передает свои ощущения телезрителям, как будто эта, неприятная, конечно, история произошла не с ним самим, а он только пересказывает содержание прочитанной книжки. Он то ли действительно не испытывает боли и бешенства, то ли каждое утро выполняет специальные упражнения, вырабатывающие особую технику их сокрытия или преодоления. Иногда кажется, что от немцев веет металлическим холодком анестезии, они как бы заморожены изнутри. И поэтому с легкостью переносят свою боль, а чужой и вовсе не замечают.

Завершают же нордический характер злопамятность, мстительность, эгоизм, ростки которых тщательно окуливаются обществом и в зрелости приносят плоды в виде крепких орешков, о которые можно запросто сломать зубы...

А евреи — наоборот. И плачут, и причитают, и сопли по лицу размазывают, и вечно чего-то канючат, и... так брезгливо и тошно становится, что поневоле думаешь: такой тебя в газовую камеру вперед пропустит, попросив 10 марок вперед за одолжение...

И тоже ведь есть свои пред-пред-предпричины, и объяснить все можно (софистика с казуистикой уже приготовились, привстали в первом “па” узорчатого фокстрота), вон и мать Моисея, нанявшись к собственному чудом спасенному сыну кормилицей, вместо того чтобы от счастья святой сделаться, душой вознестись, добилась за эту работу еще и денежного вознаграждения. В их талантах, египетских... А по нашим талантам, душевно-литературным,— дрожь да озноб... Цинизм это безграничный, торгашество, предательство смысла...

Не потому ли и удалось впоследствии одному взбесившемуся народу так стремительно истребить другой, еще до смерти перепуганный досмерти, что некоторые сами закладывали своих дорогих соплеменников, как иногда закладывают в ломбард дорогие вещи, а потом уже не имеют возможности выкупить их назад, уже как-то не до того... История — ростовщик с самыми высокими процентами...

И... дрогнула рука, спохватившись, что какой-то дурак и мерзавец уже протянул грязную лапу за этими строчками, чтобы залить их кровью тех или других, или, как бывает, - и тех, и других. А с другой стороны — уже дышит жарко в лицо сорвавшаяся с цепи свора воинствующих гуманистов всех мастей и подпалин, и свирепо рычит, обвиняя автора в новой расистской теории...

Писателю нечем заслониться от разбушевавшейся «доброты» (читай: от толпы демагогов), кроме тонкого, трепещущего листа бумаги. Это — его единственный щит, а певчее перо — единственное оружие...

Не об антисемитизме здесь может идти речь, ибо автору хорошо на собственной терпкой крови известно, что за столько веков и испытаний не отреклись евреи от Веры своей, не предали главного...; и не об «антинемизме», ибо доходящая до ненависти любовь свидетельствует о причастности, но — об, если так можно выразиться, некоем «антивсемизме». Если все- это гетто...

Даже если оно окружено не колючей, а метафизической проволокой.

И еще несколько откровенных признаний, чтобы у читателя не сложилось впечатление, будто автор судит и приговаривает к позорному столбу весь мир, упиваясь прозрачным вином своей святости...

Во-первых, меня всегда радовали победы израильтян, хотя в суть арабско-израильских конфликтов я не вдавалась. Просто было приятно, что не кляузничают, а воюют, как нормальные мужики. И еще как бы совсем немножко, где-то внутри, в глубине этого “внутри”, сладко подзванивало, что мстят за всех “срезанных” на экзаменах в российские университеты, за всех не принятых на работу по “пятому пункту”... Во-вторых, хотя я и отказалась в свое время наотрез менять “крамольный” еврейский паспорт на русский, ибо судьбу не меняют и от родителей не

открещиваются, но что-то во мне всегда краснело при обсуждении “еврейского вопроса” в русской компании, я как бы отодвигалась от разговора, как будто он меня не касался... Может быть, с точки зрения раввинов, это было и мудро, во всяком случае, разного рода Борухи, возникшие вдруг здесь из Борисов, никого, кроме меня, наверное, не смущают. (Это мне иногда хочется вдруг спросить: так что ж вы, боровы, там-то боялись назвать себя настоящим именем или же, наоборот, здесь стилизуетесь?)

А вдуматься: так ведь и просто промолчать, отодвинуться — это и есть оно, то самое, что нас бесит в других. И в первую очередь презренная попытка спрятаться от своей национальности, хотя и не пряча ее от других, но стыдясь её и одновременно возгордившись ею, кичась своим отщепенством, которое на русском языке называется изгойством, потому что “гоем” на еврейском языке называется русский. Вот они, два типа еврейской гордыни: гордыня пресмыкающаяся и гордыня шапкозакидающая, из которой произрастают как бы русские народные евреи: еврей-алкаши, еврей-красные командиры, еврей-космополиты и еврей-антисемиты... Как будто национальность — это или орден - или клеймо, а не всего-навсего оболочка, фантик, в который завернуто обычное человеческое сердце...

Как смешно и печально смотреть на русских евреев, которые пытаются в Германии стать или хотя бы выглядеть немцами; поучая других своему нелепому, с акцентом на сто верст, немецкому языку, предавая сразу две свои родины: Россию и, как они думают, Израиль. Они выглядят, само собой разумеется, не бывальными европейцами, а жалкими клоунами на хохочущей над ними немецкой арене. Даже не на арене, а на рыночной площади, потому что в цирке выступают профессионалы. Цирк — это уже большая политика...

Ну, что, сладкая моя, обращаюсь я к себе по-немецки, если уж тебя потянуло на беседы по национальным вопросам, лучше всего позвать гостей, Вольфганга или Гришу, или, еще лучше, сразу обоих; потому что с ними все это как-то забывается, можно даже перепутать, кто где родился: кто здесь, в благословенной Готтом Швабии, а кому “ридна мати” Украина... И поговорить о России...

Право, славно – выпить православно,
Захрустев огурчиком огонь...
Как вы там, Петровна, Николавна
И другие образы тихонь?

Как вам спится на железных буклях?
Также ль тянет свежестью с реки?
Ваши руки тяжестью набухли,
Как на ветках яблоч кулаки...

Вольно вам в предутреннем тумане
Путь заветный тропкою продля...
...Никаких Америк и Германий:
Лишь деревня Редькино – Земля!

Мне за вас и радостно и жутко;
Вот звонит наш колокол по ком...
Ну, а дочки... Дочки... в проститутки
Убегли – как были – босиком...

Утро напомнило кадр из итальянского кинофильма, хотя его героиня, хлопающая на крыльце не крыльями, а бельем соседка-соседка, меньше всего походила на Анну Маньяни или Джульетту Мазину, и вообще Феллини, Антониони, Висконти превратились для меня в воспоминания... о Петербурге. Вот как иногда получается в жизни: здесь Италия на расстоянии одной автобусной ночи, и сын едет туда на каникулы, и обувь итальянская — на всех прилавках, как гондолы — в венецианских каналах, банановыми связками, но та, моя страна самого солнечного в мире искусства куда-то от меня отодвинулась, как и моя Франция, и моя Германия...

Представьте себе человека, упавшего с самолета в джунгли: он должен брести куда-то, лишь бы идти, он должен стараться не забыть правила арифметики и рафинированный — по сравнению с рычанием и шипением — осознанный язык, он не имеет права царапаться и кусаться, даже если ему грозит опасность, и, пока он помнит, осознает, что он человек, он жив и может когда-нибудь наткнуться на узкую путаную тропинку, ведущую к широкой дороге и, значит, к спасению...

Я вдруг почувствовала, что главная опасность уже позади, кризис тяжелой и продолжительной болезни, имя которой — ожесточение, миновал, постепенно переставало трясти от приближающихся сограждан, возвращались мудрая снисходительность и спасительная ирония.

Или это, наоборот, происходило самое страшное: привыкание к ежедневному кошмару, как к должному, как в тюрьме или в лагере другого типа (это был лагерь, так сказать, только усиленного режима общения), и тогда маленькие радости, которые я уже как бы научалась (не научилась еще, но уже научалась) воспринимать, означали не возврат к человеческой, в моем понимании, жизни, а, наоборот, безнадежный отказ от нее, сползание в некое насекомое существование, проще говоря — деградацию...

Как бы там ни было, солнце сияло, несмотря на то, что мне опять не пришел конверт с квартирой; оно слепило и

заставляло щуриться — как улыбаться...

Не случайно, мне кажется, представители желтой расы всегда будто бы улыбаются, даже когда учиняют себе харакири или шинкуют кого-нибудь на крыше мечом. Желтые лучики морщинок у глаз обманчиво превращают лицо в круг солнцеподобный. Все восточные злодеи так улыбались: и Чингисхан, и Владимир Ильич, и даже моя рыжая кошка... А западные - иначе: старательно, открыто, фарфорово, словно они рекламируют зубную пасту. Только, пожалуй, Гитлер ни на кого не похож, нет, есть все-таки, как мы уже говорили, один персонаж, булгаковский Шариков, когда профессора преображенские недооценили опасность, упустили момент и он сделался фюрером.

Несчастливая все-таки страна — Германия... Ведь живешь в ней, пользуешься ее благами, но, положив руку на сердце, относишься примерно так, как в браке по расчету к богатой и постылой жене, то и дело попрекая ее скандальным прошлым, которое она честно хотела забыть. И она затыкает все бранящие ее рты деньгами до следующего, иногда специально ради этого спровоцированного скандала...

Но утро, повторяю, выдалось ни с того ни с сего радостное, что-то ликovalo вокруг или внутри, прошел, “жопу выключивая”, как выразилась убийственно точно одна девушка из хорошей семьи, комендант лагеря, такая была у него, оттопыренная, что ли, походка; пошутил, хоть и не без язвительности, по своему обыкновению (а его, по обыкновению, не поняли — и поползли слухи), что все евреи должны сдать свои меха в социаламт как предмет роскоши.

Разумеется, больше всех напугалась владелица драного козлиного полушубка и такой же драной и нежно любимой ею кошки, у нее даже не хватило фантазии эту кошку как-то назвать, хотя бы Машкой, кошка и кошка, но зато хватило терпения трястись с нею через все таможни, сначала — в поезде, а потом — в автобусе. (Можно ли прибыть в Германию с кошкой, она заранее не справлялась, а кто не задает вопросов — тот не получает и отрицательных ответов. Это еще раз о вреде грамотности.)

Она теребила всех, предлагая лично убедиться в ветхости и непрезентабельности своего козла, и еще ее явно беспокоил вопрос, не отнесут ли к ценным мехам и кошку – кошку... Кто их, этих немцев, знает...

Разумеется, больше всех издевалась над недотепой и простофилей женщина породистой осанки, которую звали как грузинскую царицу; была она не тех, конечно, кровей, но из тех краев и, струхнув, я думаю, еще раньше, но раньше и сообразив, теперь вымещала свой испуг на остальных. (А шубу свою предварительно, на всякий случай, все же припрятала, сказав мне: “Вон как парит, в этом году больше уже не понадобится...”)

Люблю неглупых людей. Если они даже сволочи, то все равно способные, работоспособные сволочи, просто им Бог таланта не дал, а умом и самонимением не обделил. Из них получают профессиональные функционеры неважно какой партии, и что бы они ни пропагандировали (с усмешкой вовнутрь...), делают они это гораздо лучше, чем верующие в то, что они делают, прекраснодошудные дилетанты...

Могу представить себе, что сейчас творится в Израиле: туда уже столько вчерашних партийных и профсоюзных боссов понаехало, что надо в каждом втором доме открывать синагогу, чтобы дать каждому руководящему «столлик и стулик»... - Помните у Льва Кассиля маленький Оська спрашивал: «Мама, а наша кошка – тоже еврей?»..

Еврей, еврей, в том-то и дело, что каждый сидящий здесь, за этой решеткой, на этом квадрате горячего уже асфальта, в той или иной степени – еврей, даже Вася Иванов, даже влетающая в комнату без приглашения, как атомная бомба, лезущая на тебя при разговоре всеми руками, как на дерево, разбитная бабенка с узкими раскосыми глазами, все, все они евреи, и даже кошка-кошка, и даже сам до слёз или сквозь слёзы смеющийся автор...

За всю свою долгую жизнь не пришлось мне увидеть столько евреев, и вообще столько людей, сколько за три этих бесконечных года... И несмотря на проросшее, пробившееся сквозь асфальт хайма это, согласитесь, далеко не бесталанное, свежее сое произведение, думаю, что русскому поэту этот опыт был необходим так же, как, скажем, Райнер Мария Рильке – пожить в одном чуме с чукчами... Если бы этот эксперимент состоялся и продолжался примерно такой же период времени, у бедного Райнера мог бы появиться чукчианский акцент, и он бы, того гляди, начал откликаться на «Марусю»...

Впрочем, я опять, по своей скверной привычке перескакивать с места на время, отвлеклась от того неожиданно погожего утра, когда два дома напротив друг друга ослепили друг друга смеющимися стеклами, и разбуженная солнцем и вестью об уценке в универмаге соседка из Львова, та самая, которая когда-то втиснулась перед нами в нашу, нашу, только нашу и ничью больше комнату, выкатилась на крылечко, чтобы развесить на заднем дворе белье, и с ходу вступила в диалог со всеми окнами противоположного дома:

- Девочки, а в Кауфхофе были?

- Были!

- А бюстгальтеры там есть?

- Есть, там все есть!

- А на мои титки, вы только посмотрите, какие большие, - (!...) – тоже есть?..

И я вдруг подумала, что вот натянуть бы между этих домов бельевые веревки, чтобы небесно-голубые подштаники, пожарного цвета футболки, белые майки развевались как флаги, - вот это и был бы любимый квартал Феллини...

И еще я подумала, что «бюстгальтер», конечно же, немецкое слово, но его здесь уже не употребляют, зато оно хорошо прижилось в России... Так же, как «ярмарка», «вундеркинд», и многое другое, что появилось в граде святого Петра вместе с первыми швабами...

И что не только легендарный граф Орлов (не о полюбовности речь, которая – личное дело каждого, но о почтении к личности иностранца, ежели эта личность того заслуживает), не только он, непокорный – и покоренный, но вся Россия не погнушалась поясно поклониться уроженке здешних краев, назвав ее государыней своей Екатериной Великой.

И пусть не душевного благородства (на это я не надеюсь), но здравого смысла у немцев хватит: чужаки – дешевая рабочая сила; грех и глупость отказаться от такого подарка... А русскому человеку, будь он еврей или аусзидлер, только дай шанс – уж он развернется и помощи ни от кого не попросит...

Словом, если не всё, то что-то должно когда-то наладиться...

А вечером сын принес мне письмо, которое ему отдали еще утром, но он думал уже не о нашей с ним квартире, а совсем о другом, в глазах его дрожали и переливались огоньки первой влюбленности, и слава Богу, а письмо было то, то самое, которое я уже устала и перестала ждать, и еще второе – от мэра города, который желал нам в его и – теперь – нашем городе – счастья...

Тут, собственно говоря, и кончилась отчаянная повесть – и началась не чаянная жизнь!..

Метаастазы грозы раздаются в осеннем саду.

Я теперь поняла: боль не тлеет, а громко сверкает.

И рыдания небес, подхватившие с пеной – звезду,

С плеч покатых стекают...

стекают...

стекают...

Стихает.

Оглянись и увидь, никого и ни в чем не виня:

Нежно-розовый край...

Черный крестик – наверно, Иуда...

Мы стоим, как волхвы, над рождением нового дня,

И каким бы он ни был, для нас он – великое чудо...

...Чтобы литературное произведение можно было считать законченным, ему, вернее, к нему полагается послесловие. Это так же неукоснительно, как библиография – к диссертации, хрен – к осетрине, рогалик – к утреннему кофе... В любом деле и, тем более в повествовании, нужна последняя, изящно закругляющая событие вишнетка...

Но, мой внимательный читатель, если ты был, действительно, внимателен при нашем, почти сто страниц длящемся знакомстве, тебе удалось уловить смысл и дух послесловия еще в междустрочии...

Ты догадываешься, что автор, в общем и целом, удовлетворен своей жизнью, но – не собой, и это тоже неплохо, потому что самоуспокоение, где бы оно нас ни настигло, всегда находится в осязаемой близости от кладбищенского умиротворения; ты почувствовал, если даже не посочувствовал автору, что ему целый мир – в той или иной мере – чужбина, вернее, в высшей мере, в которой автор разговаривает и приговаривает, ибо никаких других мерок, помельче, похитрей, попронырливей – не признает...

Но он не кричит: «Дайте мне другой глобус!», потому что и безо всяких услуг космического бюро путешествий, заранее, априори знает, что все миры так или иначе – зеркальны...

Но это уже взгляд в сторону теоретической физики, а в точных науках, за исключением поэзии, автор компетентен не более, чем соловей – в кибернетике...

Поэтому оставим его с кружкой темного – птичьими глотками – охлажденного пива в уже заслуженной прилежными посещениями и щедрыми чаевыми (знай наших...) Stammkneipe – мечтать о какой-нибудь марсианской Франции, ибо к Франции, расположенной по соседству, у него тоже есть кое-какие претензии, – и тосковать о своей горькой, отстоявшейся в памяти, светлой – без примесей, может, уже и не существующей на земле, призрачной и пьянящей до слез России...

Знаю: Родина – миф. Где любовь – там и родина... Что ж

Не вдохнуть и не выдохнуть, если ноябрь и Россия...

Лист шершавый колюч, как в ладони уткнувшийся еж,

И любой эмигрант на закате речист, как Мессия...

Ибо обе судьбы он изведal на этой земле:

От креста оторвавшись, он понял, что это возможно:

И брести, и вести босиком по горячей золе

Сброд, который пинком отпустила к Истокам таможня...

Для того и границы, чтоб кто-то их мог пересечь

Не за ради Христа, не вдогонку заморских красавиц;

И не меч вознести, а блистательно острую речь!

И славянскою вязью еврейских пророков восславить,

Зная: Родина – мир... Где любовь – там и родина... Но

И любовь – там, где родина... Прочее – лишь любованье...

Как темно в этом космосе... (Помните, как в «Котловане»...)

А в России из кранов библейское хлещет вино...

